

Алексей Смоленцев

Вселение жизни

Стихи и рассказы



**Народная
библиотека
XXI век**

**Киров (Вятка)
2014**

ББК 84 (2Рос-Рус) 6-5

С-51

Редакционная коллегия:

Бакин В. С.

Наумова Е. С.

Пересторонин Н. В.

Юрлова О. Л.

12+

С-51

Смоленцев, А. И.

Вселение жизни : стихи и рассказы / Смоленцев Алексей Иванович; Прав. Киров. обл., Департамент культуры Киров. обл., Киров. обл. отд-ние Общерос. обществ. орг. «Союз писателей России». – Киров, 2014. – 160 с. – (Народная библиотека).

Новая книга Алексея Смоленцева знакомит соотечественников со стихами и рассказами минувшего десятилетия; раскрывает опыт сопричастности Событию творчества; предлагает разделить поэтическую мечту о таинстве Святой Горы Афон; вместе с трудниками Крестного хода видеть протянутые миру на высоком просторе Божьей ладони Храмы Великой Реки; потерять привычное время и обрести себя в непривычном пространстве; рассмотреть логику земного бытия в иной, Нового Завета, Святоотеческой системе отсчета, где сила смертного тяготения настолько ничтожна, что ей можно пренебречь; ответственно задуматься о величайшей возможности, дарованной человеку – свободе выбора, и, может быть, если Богу будет угодно, выбрать – Жизнь и Любовь, Православие и Россию, всё вместе, ибо одно без другого невысказано.

© Смоленцев А. И., 2014

© Оформление. КОО ООО «СПР», 2014

Вселение жизни

ВСЕЛЯТЬ, вселить кого куда, водворять, поселять, селить, давать место и средства для житья; ... **Вселенная** ж. вся заселенная, предназначенная для заселения людьми земля; белый свет, мир наш, земля, шар земной; || совокупность мироздания, все миры, все вещественное в природе. **Вселенский**, относящийся до вселенной: всесветный, всемирный. *Вселенские соборы*, совещания высшего духовенства всего христианского мира. *Вселенская субота*, Дмитриевская, Родительская, Родоница, Радуница (последнее название относится до Фоминой недели) поминальная...

*В. И. Даль, Толковый словарь живого
Великорусского языка, 1863-1866*

Дождь в декабре

(заметы сердца в историю души)

*Восплачем теперь, если не реками слез,
то хоть ручьями; если не ручьями,
хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем,
сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу,
умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять
Его более нарушением Его заповедей, –
и ревнуя потом верно исполнить такой обет.*

*Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года*

...однажды, в незаметном моем земном бытии, так сбылось событие творчества. Рассказать событие не умею и чуть ли не впервые боюсь слова, боюсь строки, как бы не получилась вновь – речь о себе. И себя никуда не денешь, потому что через собственное сердце прошло и в собственном сердце сбылось.

Время кончины Святейшего Патриарха Алексия я не почувствовал, не узнал. Сердце обустроилось, смирилось пространству Рождественского поста, за Пресвятой Богородицей на Праздник Введения введено было в Храм Православный, Исповедью и Причастием, вновь затаило себя созерцанием Жизни, Православием Вселенной. В пост как огня бегу и новостей, и телевизора, и интернета, потому что – не в пост слишком падок на все это, пристрастен даже. Узнал, чуть позже, не помню даже, как узнал, как принял, как жил с этим. – Так бы и рассказывать, по порядку, как все и было.

Но было все на самом деле – не так.

Живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов, – выведет Иван Алексеевич Бунин в 1929 году, размышляя о русской жизни и русском творчестве на примере писателя Александра Ивановича Эртеля (1885–1908). Постулат Бунина имеет своим основанием опытное, достигнутое в творческом и жизненном опыте посредством «живого чутья действительности», Исповедание Православного Символа веры: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Надо живым чутьем воспринять действительность Православного Символа веры. Надо обратиться к Творцу – во Святей Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу – как обращается Молитва Оптинских старцев: «Господи, просвети мой ум и сердце мое для разумения Твоих вечных и неизменных законов, управля-

ющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим». И тогда, если Богу будет угодно, станет внятн элемент невидимый как основа всего видимого, и тогда полнота мирозозерцания, не ограниченная лишь миром видимым, позволит разуть законы, управляющие миром, если только цель постижения законов состоит в том, чтобы «правильно служить Тебе и ближним моим».

Вспомнить прошлое – это попытаться оглянуться назад, взглянуть поверх прожитых лет, собрать рассеянную память на том событии, которое было, ты это доподлинно знаешь – было. Но собрал, сложил и – лишь гряда мертвых осколков, а был целый камень, событие было, и если и камень, то камень был жив и вопил, вопил тихонько, потому что ты сам – молчал, событие своего бытия не понимая, осознать не умея. Как же вернуться туда, как собрать событие в жизнь живую – камень тихонько возопивший, как услышать вновь? Как услышать событие повзрослевшим уже сердцем, пережить и понять наконец-то, что же с тобой произошло?

Для этого – не смотри назад, не оглядывайся, оставь в покое память, пусть служит тебе там, где ей должно, а здесь потребно иное. «Склоняясь и хладея, мы близимся к Началу своему», – засвидетельствовал Александр Сергеевич Пушкин. Не смотри в прошлое, смотри в Начало, впереди себя и чуть выше горизонта, вверх. Что видишь? Икона Пресвятой Троицы лиет щедро, во всю Вселенную, предрассветный зеленоватый, зелено-серебристый, едва неуловимый человеческим чувством Свет. Так устроил Господь мир земной и небесное таинство – «Творца неба и

земли, видимым же всем и невидимым». Ты не видишь Икону, но Она есть. Стань посреди русского безкрайнего поля, в предрассветную рань Пятидесятницы, «нет ни души кругом – ни звука, ни тревоги», – свидетельство Бунина, Начальник Тишины – здесь, с тобой, вперед и чуть выше, над горизонтом – Неуловимый Свет. Вглядишься в Православном храме в Икону Пресвятой Троицы, очами сердца вглядишься, долго стой, сколько потребуется – увидеть: от Нее – Свет, Тот Свет, что коснулся твоих чувств среди русского поля, за миг до рассвета.

Во мне самом есть – мир видимый и невидимый, живу и сознаю жизнь свою как пространство видимое, и, оглянувшись, лишь видимое вспоминаю, вижу – «битый камень лег по косогорам» (А. Блок). Научись не вспоминать, а воскрешать. Вперед смотри, смотри на Пресвятую Троицу, всем сердцем взыскуй Начало. И будет дано – увидишь и мира начало, и человечества начало, и жизнь свою собственную увидишь в Неуловимом Свете, к Нему ты и шел. Ду мал, жизнь за спиной остается, переживем, забудем, а она, жизнь твоя, впереди тебя вся собиралась, складывалась, образовывалась, да не так, как ты бы хотел представить – себе ли, людям, Богу, а так как на самом деле была. Озарит ее Свет всю перед глазами твоими. Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин – «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю». Читая жизнь. Назад в России не читают, читают только вперед. И Онегин, «он меж печатными строками читал духовными глазами». Жизнь свою вперед читал и все видел так, как оно есть. «Но строк позорных не смываю». И нет, не смыть. Не обойтись слезами.

Так и события бытия, сбывшиеся, вперед глядя, надо рассматривать. События твоего бытия воскрешаются в

Свете Неуловимом, становятся зримы, предстают во всей полноте мира видимого и невидимого. Смотри, открывай снова, проживай с совестью вместе так, как надо бы было, а что не исправить – созерцай бережно, собирай горько, плачь ко Творцу, в храм Православный спеши. Исповедь, батюшка ждет недвижим, Крест и Евангелие недвижимы на аналое – свидетели и орудия твоего спасения – ждут недвижимы твоего свободного выбора, Епитрахиль недвижна по батюшке, как река златоцветная предрассветная, но и Епитрахиль ждет, и Ангел Хранитель твой место занял для тебя в храме с надеждой.

Святейший Патриарх Алексей, ночь Вашего ухода неведома мне... я ничего не ведал, но пятого декабря года две тысячи восьмого встал я наконец-то в четыре часа утра. Много лет и от поста к посту пытаюсь изменить свою жизнь, хотя бы внешне, – встать ранним утром, до света. Пытаюсь и не могу, лишь иногда и так необъяснимо, словно не сам я, а кто-то из мира невидимого коснется спящего сердца, и вот я уже на ногах, – Радость такая в правиле утреннем, в Евангелии, во Псалтири – читай, словно в небе пари, все время в запасе, времени нам не хватает всегда, пока оно, время, – есть, а когда все время – в запасе у тебя, то оно исчезает, времени больше нет, по-настоящему нет, то есть все оно твое, живи в волю, лишь следи, чтобы и пространство не исчезло вслед за временем, а то обратно не выберешься, точки опоры не будет. В чистом от времени пространстве доброго утра, до Света, собирай себя Господу, Свету себя собирай, чтобы и в тебе рассвело наконец-то. Ждет и стол рабочий, есть до работы, той, которая – за деньги, за хлеб насущный – так, работа ли она? – поденщина, может, – час-полтора. И время верну-

лось, успел лишь о хлебе подумать. После молитвы есть у тебя еще время для своего дела, для настоящей работы твоей, которая хлеба насущней, но вот про хлеб ты не забываешь, а работа насущная время от времени, а ведь на это время ты и пришел – на время свидетельства личного. И не успеваешь. Пятого декабря я успел, сел за стол, моему Великоорецкому работать, Крестным ходом идти, не назад оглядываться, вспоминая, а вперед бежать за ходом, догонять, пока спал я, пока не рассвело, ход далеко ушел ко Христу, за Иконой святителя Николая.

Догнал я Великоорецкий крестный ход пятого декабря две тысячи восьмого года, часам к шести утра, наверное, на привале, последнем перед селом Великоорецким, догнал, а отдышаться некогда, записывать надо, свидетельствовать, пока воскрешено все и зримо...

...как на ладони, на высоком просторе Божьей ладони, протянуты миру Храмы Великой Реки...

Так составлялось свидетельство мое – Великоорецкое, село моей жизни, – но и на работу за хлеб насущный пора было, пятого декабря тоже.

Шла ли дальше жизнь... шла, видимо, – и видимо, и невидимо шла, не останавливалась, но как создавалась, складывалась, как сбывалась, бытием становилась – снова крошево кромешное, камешное.

Запомнилось восьмое декабря, накануне прощания. Тянулась рука к телевизионной кнопке, но подумал, если включу сейчас, потом не оторваться будет. Вечером говорил с мамой. И мама моя, в далеком Екатеринодаре, даже обиделась на меня. Как же ты можешь, говорит, так – завтра похороны, прощание с Патриархом, и ты не будешь

смотреть, вся страна плачет, говорила, и сама плакала. Искренне обиделась мама. И только одно мог я сказать в свое оправдание, что, видя пристрастность мою, простит меня, я думаю, Святейший. Я и правда так думал и прощения просил, у него и просил. Не в телевизоре, конечно, было дело, отказался я разделить с мамой моей, с народом моим плач живой по общей нашей потере. Может, в этом единственном случае телевизор и был как возможность единения всей страны в одном событии, в одном прощании, в одном общем плаче, потому что все, кто любил Патриарха, не зрителями же они были, через экран становились они участниками скорбной этой минуты. Думаю, мама так чувствовала, думаю, поэтому обиделась.

Девятого декабря встал я вновь, рано, еще до пяти часов утра. И за утренним правилом вдруг особо почувствовал молитву, заговорил иначе, непривычно, и внутри, непонятно откуда, был необычайный подъем, неведомая, высокая и сильная сила, взмывало вверх все внутреннее существо. И Евангелие, и Псалтирь – все звучало согласно, преображало существо в какой-то особый неведомый строй. Помнил, что сегодня похороны, но что-то иное особое, помимо общего чувства, оживало, воскресало, воскрешая и меня самого в новое состояние легкости, отсутствия земли, боли не было, было ощущение жизни и силы. И Великорецкое работалось споро, зиждилось прямо на листе, воскресало, все видел в Неуловимом Свете отчетливо.

...и было Утро. Рассвет, платиновая искренность рос по зеленому шелку, зыбкое блужданье тумана над чистым зеркалом реки, густое молчание высокой хвои,

видимая зыбь человеческого дыхания, словно души трепетали, едва не отлетая, у самых губ, на грани выдоха – вдоха земного мира небесному...

...позже, на работе поденной, не знаю, в котором часу, но, может, в час девятый, среди рабочих забот вдруг, непонятно как, услышав ли – «Воспряни!», так или иначе – воспряла душа, сначала в лепет неразборчивый, трепетный, плутание в трех соснах Великорецких, как ударение выделить: напишу «селó», а кто-то прочтет – «сéло», и вдруг заговорила душа ясно и чисто. Сéло высóко селó, Божьего Трона в подножье. Здесь от Любви светло и непреложно, – стихи ли это были, я не знаю, ложились слова в размер какой-никакой, по грехам моим, и в рифму также, принималось одно от другого, словно пламень верховой летел, не обжигая, но охватывая радостью все существо.

Возможность творчества – Дар Божий. Творчество высоко и чисто, Красиво, в Божьем смысле, «А Бог был ясен, радостен и прост», – говорит Иван Бунин. Такое и есть творчество, настоящее, Русская литература такая, и поэзия, и проза, но человек своими грехами искажает явление Слова. Человечество заслуживает быть немым, но – невозможное человекам возможно Богу. И мы – говорим.

Как же суметь мне сказать дальше и не кичиться грехом. Для меня чувство – «первейший из грешников» – природное искреннее, я в нем живу, внутренние грехи – они скрыты от людей, а есть грехи видимые, курение, вот как у меня, и вот такие грехи, они трезвят, как язвы зримые, проказа, у всех же на глазах, не только у Господа, и от этого место свое настоящее в мире видимом хорошо чувствуешь и знаешь.

В юности я нес без передыху рифмованную околесицу, что уж там Божьего было, любовь да восторг, наверное. В зрелости дарована была мне немота, которая разрешалась лишь на краткие мгновения, но какие это были мгновения, после многолетнего молчания, безъязыкости, безгласия, когда лишь отдельные слова и строки виделись и торчали безжизненно, неприкаянно, мертво, среди занесенного тишайшим снегом зимнего сада немого молчания. Но как же зацветало все вдруг, в мгновения творчества, весенним невообразимым цветом жизни. Лишь мгновения.

И одно из таких мгновений открылось мне в девятый день декабря года две тысячи восьмого, а накануне я за вечерним правилом просил прощения у Патриарха, и у мамы просил прощения мысленно, – что не иду попрощаться со Святейшим к телевизору, но приду, пообещал, и маме, и Патриарху, пообещал, – в Храм завтра на вечернюю службу, там провожу, там попрощаюсь.

День девятое декабря, когда Слово во мне воскресло, помню, и сегодня в Нем жив, смотрю в Начало. В Неуловимом Свете...

...вижу, как в пламени легком пробежало по листу первое стихотворение, селу Великорецкому посвященное. И сбывались строки и помнилось, Высочайшим Благословением Патриарха Алексия вышел Великорецкий Крестный Ход в двадцать первое столетие от Рождества Христова – Ходом Всероссийским...

Потом, не веря еще, что могу говорить, дописал второе, страшно сказать, в тот день и поставил «Россия» в заглавие, в другой день не смог бы, назвал бы иначе, но нет – казалось – так и должно. И эпитафия из Пушкина. Сложено было стихотворение раньше. Восемь строк

как вопль, безответный. Вопль сквозь все времена, сквозь всю Россию, горьким недоумением – ...родиться в России с умом и талантом... И что после Пушкина к вопросу этому добавить можно. Пытался Блок добавить, да дальше Годаринской окрестности не прошел... Но соскреб и я из букв сам вопрос на восемь строк. И не знал ответа, не было ответа во мне. И вот, вижу, живет на листе село Великорецкое, селение, вселение жизни моей. С высоты Великорецкой, Божьего трона в подножьи, открылся и этот, до язвенной раны выболевший во мне, вопрос мой – горькое недоумение мое, ропот ли, или сокрушение сердца немощное – почему вот так, Господи? И дописал – как знакомое, уверено и твердо легли на лист еще четыре строки, ответ.

Третье стихотворение – Афон, мой Афон, Событие Афона во мне и со мной бывшее, Событие Афона – не переживание, не прикосновение, и уж никак не сказать – «я был на Афоне», все не так – Афон был в моей жизни, и была моя жизнь на Афоне, неделя всего, но – Жизни Неделя, это точно было, точно так, был и есть Афон, сбылся Афон. Вот он, Афон, стоит недвижим на пути к Началу жизни моей и требует от меня, самим Событием своим, требует молча, чтобы и я, теперь моя очередь, – сбылся Христу как человек, как творение Божие – сбылся... а я не умею, боюсь... Маме моей было посвящено стихотворение и дописывал я его по дороге на обед.

Молитва матери со дна моря достанет – живое свидетельство веры Православной, живое, аз есмь – свидетель, и – живой, молитвой матери со дна житейского моря оживотворенный. Читаю, всегда читаю Акафист Иисусу Сладчайшему, и всегда что-то с сердцем или в сердце самом происходит, левое плечо немеет, тянет левую руку, и душу

тянет – но не утробно, а как-то благодарно, благодатно, на этих строках:

«Видя вдовицу зельне плачущу, Господи, якоже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси; сице и о мне умилосердися, Человеколюбче, и грехми умерщвленную мою душу воскреси, зовущую: Аллилуиа».

На самом краю моей земной жизни стал вдоль моего пути Храм Православный, в Храме Батюшка – невысокий, седой, сухой, с затаенной внутренней силой, какая в стволах древесных живет от почвы и неба взывает, потому и сила, что не земле живет, а небу работает. Батюшка, отец, священник Русской Православной Церкви, Богу служитель, человекам от Бога – пастырь. Страшно. Даже и здесь еще, на самом краю моем, оставлял мне Господь дар Его безценный – свободу выбора, страшный для неразумного человека дар. Если б не Господь, прошел бы я прямо в смерть земную. Заслуженно бы прошел, потому что свой выбор в пользу смерти я давно сделал, смертью и жил, сознательно жил грехом. В смерть и прошел я, мимо Батюшки, но из Храма чудом не вышел, опомнился, смертными еще делами – многозаботными – вернулся, спросил пустой вопрос бытовой, а ответ услышал на мой выбор, последний добровольный меж смертью и жизнью... громом грянуло тихое русское слово в изможденной тьмою душе моей, молнией благодатной осветило всю мерзость запустения личного, очнулся во мне русский мужик, опамятовался, перекрестился я... в это самое время, в минуту эту самую, шла и мама моя Крестным ходом, шла от границы земли Уржумской с Марийской землей, шла – в Дивеево. Пять сотен километров шла и шла. Пять сотен километров – молилась. И ноги до крови стерла, про сердце что и говорить, – шла и

шла. Только и просила у преподобного Батюшки Серафима – валеночки его для себя, потому что ногам не вмоготу было, да Божией Милости к сыну своему да к детям моим – внукам ее. Молитва матери. И молитва вдовы и лепта вдовы. Все это мама в жизни своей после смерти отца соединила. Соединила точно так, как в Евангелии сказано. А раз выполнила все, как в Евангелии сказано, то и ответ ей был как в Евангелии.

Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.

От Крестного хода маминого и принималась новая жизнь моя, и Афон как Начало жизни новой. И складывал строки и плакал, и слезы по щекам текли не останавливаясь. И я не останавливался, шел на обед, декабрьской Вяткой шел, снег лежал вдоль дороги, ноздреватый, грязный, сугробный, осевший, побитый остро, а о край тротуара потоком, на бордюры напирая, бурлили ручьи, бурные, витые, нелепые в декабре, среди снега.

Девятое декабря две тысячи восьмого года – так и останется в жизни моей серым полуденным часом, дождем мелким, но проливным, неотвратимым, сыро бьющим в лицо, на весенних по порыву выхлопах ветра, косым штрихом, линующим наново, все вокруг – и зиму, и снег, вятскую часть человечества, пространство и время, и щеки мои в дожде, и собственных моих слез не видно миру, идти и

плакать от чего-то невыразимого неведомого, плакать вдоволь, как жить, не таясь, не скрываясь – дождь, все встречные лица в дожде... в слезах ли? – Господь только знает...

С неба лил дождь, из глаз лили слезы, в самом человеческом существе моем лились слова, одно за другим, струились в строки, текли по размеру, как по линейке, вершились рифмой и новой строкой текли, линовали судьбу наново, только не к земле, не к снегу, вниз по струям дождя, а поперек им, наперекор словно, земле параллельно – к Востоку... это только кажется, что Афон от России – на запад, иди на Восток, не бойся ничего, только – Веруй!.. и однажды увидишь – Афон, а за ним, за Афоном, и жизни твоей Начало...

И я со строками своими, вслед им, шел поперек – дождя, земли, вдоль ручьев, не так только быстро, а тише... как слезы... но – поперек.

Ждали меня, и я пришел. В гостеприимный родной мне дом, где ждали меня к обеду, пришел заплаканный, все лицо в дожде декабрьском, пришел в родной гостеприимный дом... а там телевизор и похороны и – плачет вся страна, плачет, и домочадцы родного мне дома все плачут, три женщины – бабушка, мама и дочка, три состояния – одно существо, все плачет, просто, легко, не надрывно, словно иное дыхание открылось как слезы, вдох, выдох, слеза за слезой, незаметно, естественно, просто, тихо, как жить – плакать... так чисто внутри, так солоно на губах, и мир весь красивый вокруг радужный, чуть дрожащий... весь мир на реснице живет, оживает, тяжелеет, множится и вдруг, сотрясая ресницу, уходит, горячит по щеке след торопливый, горчит в уголке губ, исчезает... и новый, и снова и снова, как жизнь, как дыхание... плакать и жить...

ожил и я, заплакал и я вместе с ними, не своими слезами – соборными, с миру по слезинке – Святейшему плач... плакали все в тот полдень декабрьский, словно токи какие открылись и в небе, и в людях русских, народ воскрес на мгновение...

Вечером в день этот, как и обещал маме и Патриарху, пошел я на службу, рано очень пришел... долго стоял у храма, стоял при паперти у ограды, моросил дождик, слякотно было, промозгло сыро... Храм был темен... а я стоял с непокрытой головой, потому что молился и прощения просил у Патриарха и долго не входил в ограду... курил потом, на паперти промозглой земли, вдали, еще дальше отошел от ограды, дождинки леденели уже, острились, стучали в темя, храм в ограде был темен... было страшно, казалось, Любви больше нет, нет Жизни, и все исчезает, Россия, Православие, человек одинокий на паперти, все – смиряется в стынь, замирает, как ручьи, как слезы... и вдруг проблеснул огонек в темной окраине храма, в сводчатом створе высоком, и следом еще и еще – лампадки затрепетали, затеплили жизнь, взгляд мой очнулся, и я вместе с ним, и мир задышал, моим сначала принялся дыханием, не сдюжить, казалось, ослобони, вдох невозможен и выдоха нет, вытянул как-то натужно, придыхом мелким, зачастил и миг только, чудом вытянули, задышали с миром, и я раздышался... вдруг люди, народ за народом, до тесноты, почему, откуда столько, и храм уже в свете весь, не окнами, а сам заблестал, кресты – а купола над храмом невелики, но много их и собираются вверх, идут, как на Голгофу, со своим крестом каждый купол, – все золотисто ожили, пошли снова в верх, а им навстречу – снежинки, порхание белое...

...так и принялся снежок к самой службе вечерней на память Иконы Божией Матери, именуемой Знаменье, а по службе вся паперть белела, горела таинством тихим, чиста паче снега...

И казалось, слышала каждая душа в ограде, с каждой снежинкою вместе, Господь обращается к верным Своим: «В путь узкий хóждшии прискорбный, вси в житии Крест, яко ярём вземшии и Мне последовавшии верою, приидите насладитесь, ихже уготовалх вам почестей и венцов небесных...»

Слышала каждая верная душа в ограде, снежинка каждая, и каждая отвечала, не могла не ответить своему Спасителю, сама за себя отвечала, а получалось – все вместе, голосом одним, одним дыханием, всем снегом в Божьей ограде Русской равнины – Образ есмь неизреченныя Твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений, ущéдри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Всем снегом своим откровенным отныне, на миг соборный, просила душа народная, за себя просила, за своего Патриарха – Древле убо от не сущих создáвый мя и образом Твоим Божественным почтýй, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитися... добротою возобразитися, – повторяла, просила душа.

Дождя в том декабре и той зимой больше – не было... а снег был всегда, всю зиму был снег, снега было много, снег – шел и шел, часто-часто, чисто-чисто, много-много...

Со Сретенья повернуло уже на Весну, небо прояснилось чистою синью, а даже и март все еще морозил, держал всерьез, Великий пост преломился, а март все стоял на своем...

На Алексея Человека Божьего все в мире земном плавилось, плыло, несло под неумолимую диктовку – даже и в ночь – капели, наперебой, наверстывала Весна, близилась к Началу, нагоняла Пасху, Воскресение Христово... а я замолчал.

Последняя дата под стихами, возвратившимися вновь ко мне девятого декабря среди слез и дождя, поставлена была 29 марта... мир ожил весною, заговорил, молодо, радостно, неостановимо, так, как и должно говорить – созидая грядущее Воскресение... и к чему тут было мое бормотание... а в молчании мне – была Радость, и Пасха была скоро... и я был свой среди Воскресенья Христова видевших, своими глазами все видел...

*5–8 декабря 2013 года
г. Вятка*

I.

Византийское время

*В полночь вставал славословить Тебя
за праведные суды Твои
Псалтирь, 118:62*

Святая гора Афон подчиняет время особому порядку. Византийское время: заход солнца соответствует полночи / *Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою* (Книга Бытия, 1:2) /. С заходом солнца стрелки часов устанавливают на отметке «12» и начинают отсчет нового дня. В Свято-Пантелеимоновом монастыре византийское время показывают часы на монастырской колокольне, стрелки часов подводят в соответствии с заходом солнца еженедельно в субботу. В Иверском монастыре сутки начинаются с восходом солнца.

А.С.

Селение жизни

Сéло выsóко селó
Божьего трона в подножье.
Здесь от Любви светло
И непреложно.

Выйди на берег Реки.
Жизни течение быстро.
Сосны зачем высоки?
Травы зачем шелковисты?

Ищет творенье Творца,
Сердцем неопытным ходит.
Веет туман у лица.
И от воды – холод.

Предошущением Любви
Шесть сотен лет не напрасны.
Во-н-ме-м! – прольется. Гряди –
Великорецкая Пасха.

Алые крылья – заря.
Белые – Ангелов Крылия.
Из глубины Алтаря –
Свет Литургии.

Жизни, дарованной мне,
Свет лишь имеет значенье.
Что же творил я в себе
В Ночь отреченья?

Думал, иду под Крестом.
Болью захлебывал горло.
А надрывался грехом
И нелюбовью.

Господи! Тело и Кровь.
Вниду, гордец прокаженный?
Хочешь? Верни мне Любовь
Неосужденно.

...С Красной Пасхальной строки.
Берег Реки и Отчизны.
«Великорецкое» – рцы. –
Это село моей жизни.

*09 декабря, 2008
первое после молчанья*

Россия

...родиться в России с умом и талантом...

А. Пушкин

Пусть вопиет, изнемогая, плоть.
Смирись и будь, когда быть сил не будет.
На роли судей претендуют люди,
Но что они, когда бы не Господь?

Ты судишь мир: пусть фальшь и ложь отринет?
Начни с себя, взяв Крест, оставь – суму.
Что Родина? Таланту и уму
Исхода нет. – Он должен жить в пустыне.

Отечество мое – Иисус Христос.
И Материнство – Пресвятая Дева.
Россия нам – Пропятие и Древо. –
Но тем – Свята, и тем – взыскует слез.

09 декабря, 2008

Сыроежка

Маме

*...на тропе, близ скита Пресвятой Богородицы – Ксилургу,
я увидел сыроежку...*

Небо молится здесь. Море – стонет.
Здесь дарован Горе горний труд.
Сыроежки растут на Афоне.
Словно дома, в России, растут.

В школьных прописях Божия правка.
Верь и бойся, проси. И тебе –
Фиолетовой камилавкой –
Просияет в опавшей листве
Сыроежка.

И только?
И – столько! –
В мертвом сердце очнется, что спит:
Вспомнишь мать покаянно и горько
У Святой Материнской Стопы.

Что творил ты? До дна и до края
Достигал. Но из смертных оков
Вынимала тебя, разгильдяя,
Материнской молитвой Любовь.

Как ты, мама? Молитва не стынет.
Шла, Дивеевской правдой дыша,
И до Самого Божьего Сына
Ты за сына земного дошла.

Он меня – сыроежку смиренья –
Взял, на Камень Любви укрепив.
...Мама, будем в Небесных селеньях,
Вместе с папой, пойдем по грибы?

09 декабря, 2008

Афон

Удержит Кто на вираже,
Почти у края?
Афон работает в душе
Не уставая.

Работа, почести, друзья –
Как осыпь – морю.
Нагим из чрева вышел я.
Наг пред Тобюю.

Но был смятен:
я – знавший боль –
Ужели трушу?
Афон оружием прошел
Больную душу.

Стою – оболган, заушен,
Всей Вяткой изгнан.
И только Церкви не лишен,
Спасенья иский.

За лицемера помолюсь,
Не дам отмщенья.
Так надо, Господи? – и пусть,
И мне – прощенье.

Афон работает в душе
Светло и строго.
И мне давно пора уже –
Работать Богу.

11 декабря, 2008

Дождь в декабре

Ненависть тяжкая ноша.
Город бесснежье гнетет.
Плачет блаженный Алеша
Возле церковных ворот.

Храм Серафимовский темен. –
Некого больше лечить? –
И в непокрытую темень
Дождик декабрьский стучит.

Дождик летит и не тает,
Грязью ручейной бурлит.
– Вятке Любви не хватает,
Нам не хватает Любви,
Только Любовь и нетленна,
Званья и почести – прах. –
Веру декабрьским успеньем
Нам возвращал Патриарх.
Даром молитвенной силы
Узы земные расторг,
Чтоб предстоять о России,
Ближе к Престолу Его.
И на глазах – изумленье –
Дождик до снега простыл.
Праздник Иконы Знаменье –
Слякоть смиряется в стынь.
Родины ответ дочерний –
Вятка – еще поживем?
В Храме лампадки к Вечерне
Теплит отец Симеон.
Вот уже больше и больше –
Тёсны – ряды прихожан.
Хлынул с народом Алеша
В свой Серафимовский Храм.
Общую исповедь править –
С верой ко Господу Сил –
Батюшка вышел Геннадий,
Сдержанно провозгласил:
Кротость Давида – основой,
Смута страшней, чем война.
Ризы не троньте Христовой,
Не раздирайте Ея.

Вот от кадила клубами –
Мира творение – дым.
Царскими вышел Вратами
В Службу отец Серафим.
...Папёрть уже запорошена.
Холод над Вяткой как нимб.
Молится Богу Алеша
Вместе с народом своим.

12-13 декабря, 2008

Над Ключом-Кипуном

Лети, Любовь! Мы – поцелуем живы!
Шум паводка перекричат грачи.
О, как же были вы неудержимы,
Моей судьбы весенние ручьи!

Летела жизнь, водовороты роя!
Цвет липовый горчил и горячил.
Мне были ровня по сердцу и крови
Июльских гроз могучие ручьи!

Летит листва. И на пороги Ночи
Стою один, промытый до седин.
И тащит грязь и вымывает почву
Промозглый блеск ручейных осенин.

Пора к Истоку, там, страде не внемля,
Жив Ключ-Кипун, бьет – в небо, напрямик.
Так наша жизнь: ручьи уходят в землю.
Но и во льду – кипит, не спит родник.

13 декабря, 2008

Гвоздь

Господи, я здесь не гость.
Промысл Твой есть о мне...
Господи, я – Твой гвоздь.
Рану пробил Тебе.

Был я еще рудой.
Боль то откуда бе?
Это был отблеск той,
Что причину Тебе?

Грех изостряет грань.
Выкован во гресех.
Господи, кроме Ран,
Что мы Тебе несем?

Матери не стыжусь,
Сына Ее пригвоздя.
Как же я Ей молюсь?
После того, – что я...

Этот с лобзаньем лез,
Мерзость ощерив уст.
Я в заусенцах слез
Мукам Твоим гожусь.

Господи, сталь болит.
Телом иду в Крови.
Мной за меня Пробит –
Это Венец Любви.

Я почему – не гнусь?
Дар Твой: удар – пою?
Господи, даже гвоздь?
Будет с Тобой в Раю?

15 декабря, 2008

Воскресный час в храме преподобного батюшки Серафима Саровского

Зачем сейчас? – Есть дни другие. –
Такая рань! Мороз и тьма.
Душа летит на Литургию.
В родимый Храм.

На легком взмахе – не дыша –
Одна бы рада.
И – там уже, и хороша,
И Ангел рядом.

Но не вольна: пока решат,
Да суд, да дело...
Троллейбус первый ждет душа.
Ждет вместе с телом.

...А в Храме каждый шорох внятен,
И служка правило ведет,
И свечи щедро пламень тратят
От восковых своих щедрот.

Ни воздыханья, ни печали.
И мирен дух, и в сердце тишь.
Перед Владимирской очами
И ближе к Хлыновской стоишь.

Плечом к плечу в своем народе
Крепить Дивеева стену.
Златым Евангелием выходит
Господь на проповедь в миру...

...Отсюда – щит Иерусалима,
Путь к погребальным пеленам.
Мы верны – Иже Херувимы –
И Символ веры грянет Храм.

Святой обычай Воскресенья:
Всем восприемникам Христа
Быть восхищенным – от несенья
До целования Креста.

21-22 декабря, 2008

Византийское время

Солнце уходит. И – темен
Миг миру, а полночи – сыть.
Се Византийское время
Пресуществляет часы.

В костницах чисто и мглисто,
Праведно сном восковым.
Одр сей – Афон каменистый –
Станет ли гробом моим?

Било скликает на битву.
Черный поднимется сонм.
Твердо встает на молитву
Ангелосносный Афон.

Тело едино – горе –
Крестное знаменье тронет:

В – Лавре

В – Иверском и В – Пантелеиймоне¹

В – Хиландаре

1 Расположение монастырей графически и географически соответствует Благословляющему Крестному Знамению со стороны заходящего солнца, материка. Строки читаются по порядку Крестного Знаменья: В Лавре и в Хиландаре, / В Иверском, в Пантелеиймоне...

А.С.

Стражу имеете? – Ста
К Камню Афона.
Светлым Пришествием Христа –
Мрак раздерется Закона.

Стражу иную – Пятью
Ранами – Взыщет Отец.
Ей – Иисусовой нитью
Четки снизал Он сердец.

Дрогнут стасидий подножья.
Вспрянет – Афон в стременах –
Высшее мужество – Божий,
Смерть попирающий, Страх.

23 декабря, 2008

Русская Иудея

...Они буквально скатились мне навстречу с высоких ступенек административной девятиэтажки, веселая, слегка подгулявшая братия – писатели. Бывает же, подгадывай – так не сойдешься, а тут – нос к носу, не разминуться. «Мы Толю Быстрова, вот, в Союз приняли!» И что-то еще, обычное, в разнбой. «Ты-то где ходишь, Смоленцев?!» Толя, Анатолий Васильевич Быстров, услышав мою фамилию, встрепенулся, вдруг расправился весь, подобрался. Прошел легко, без помощи локтей, как дверьми затворенными, малую толпу маститых, обличенных писательским стажем профессионалов – двумя руками сжал мою ладонь и держал и держал, не отымая рук, смотрел в глаза ясно и чисто, горько: «Иван?.. Иван... А мне сказали, что ты... умер». На него зашикали: «Это же – Леша! Ты – чего?»... Мы разошлись. И я на ходу понял. Толя не ошибся. Это отец мой и приходил товарища юности вятской поэтической поздравить. Отца моего он и видел, отца моего руку держал, не мою...

Алексей Смоленцев, дневниковые записи 2005 года

*...Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой...*

Н. А. Заболоцкий «Бегство в Египет»

*...Тот, кто к своей заветной цели
Прошел как пращур на локтях
Иван Смоленцев*

В Великорецком звезды четки.
Крупней и ярче нет нигде.
Я их перебирал как четки.
Я, Вятка, думал о тебе...

Вятка, я твой промысел упрямый
Не читаю. Темны облацы.
Был поэт, из талантливых – самый,
Сорок лет принимали в «творцы».

В чем виновен вятский этот парень,
Божьей искрой вспыхнувший светло? –
И, поскольку щедро был одарен,
Жил талантом, не щадил его,

И себя. Но и вернул, все десять –
Солнечным потоком светлых слов.
Книжники восстали, жажда мести
Из сокрытых выбралась гробов.

Мне другое не дает покоя.
Люди? – Через них, но – не они.
Нет, не чернь, – учила Божья воля
Истине Опаринской тайги.

Дар приемши. И, вплоть до орудий,
Выбор Бога – не выбор людей.
И Христос подгоняет Иуду:
Что твориши – сотвори скорей.

Вятка, я мозги смешал как глину.
Как за гробом можно счет свести? –
Умудримся и откажем Грину.
В праве издавать его стихи².

Так – доньне. Только кто исчислен:
Дара больше, чем огня в локтях,
Мигом – не задерживай! – «возвысим,
унижая, клеветца, кляня»³.

Ни ума, ни сердца мне не хватит:
Шесть веков идем – Христова рать?
Образ – Хлыновский, Божию Матерь,
Не умеем Достоинно знать.

Не читаю судеб. Не мею.
Воля Божия – Чаша сия?
Вятка – Русская Иудея,
Предначертанная Земля.

25-26 декабря, 2008

² К январю 1980 сборник был готов. Но мнения читателей, особенно же Кировских поэтов, о качестве таланта Грина-поэта разошлись, Волго-Вятское издательство так и не опубликовало сборник (Н. Изергина, «А.С. Грин. Стихотворения и поэмы», Киров, 2000 г.)

³ «Что я сделал, я его возвысил, /унижая, клеветца, кляня» (Н.В. Пересторонин, «Моцарт и Сальери», «Вятский край», май 2008 г.)

Творение Любви

(мимолетное)

Не идет струиться, словно радость,
Ясный лик и чистое чело.

Девочка, с тобою даже падать
Мне, наверно, было бы легко.

Обернется, ножку чуть отставит,
Улыбнется, очи долу скрыв.

Посмотрите, юная какая –
Женщина – творение Любви.

29 декабря, 2008

Ангел

Пред Владимирской кровь цедили.

На крови восходила власть...

Не Законы спасут Россию –

Благодатью Страна взялась.

Время жизнь свою править выше –

Русских душ расключать ключи.

И имеющий уши – слышай.

Потерявший себя – ищи.

Время падать идолам наглым.

Вновь Христу – мой народ – Свеча.

И – молчит за плечами Ангел,

И Огонь от Его Меча...

29 декабря, 2008

Читая апостола Павла

12.

Бóльшие дары потребны вам?
Часть – одна, а ищет славы тела?
Только – если Любы не имам,
То – зачем? И что с дарами делать?

...

Ревновали о великом даре?
Превосходный путь открою вам.

13.

Пусть я дар языков прорицал,
Ангелам вещал и человекам –
Медь звенела и кимвал звяцал –
Без любви – с таким же вот успехом.

Пусть имел пророчества весь дар,
Ведал тайны все, весь разум ведал,
Силой веры горы представлял. –
Без Любы – ничтоже есмь. Пусть беден –

Я раздал имения моя,
Тело отдаю на пламень – сжешь.
Но Любы – как прежде – не имам,
Никакая польза в этом есть...

Любы долготерпит. Любы – ждет.
Милосердной, ей не к сердцу зависть.
Не превозно́сится, не лукавит,
Не гордится, счетов не ведет.

Ни безчинств, ни поисков своя –
Все – свои. – О злом не мыслит даже.
Только от неправды горько страждет.
И всегда о Истине – Светла.

Любит вся. Всему имеет веру.
Вся – Надежда, терпит все. Одна,
Лишь Она – Любовь, спасенья мера.
И не изменяет. – Никогда.

Любы николиже отпадет.
Мир замрет, пророчества упразднит.
Языки умолкнут, стихнет разум –
Никогда Любовь не отпадет.

Лишь от части знаем во блаженстве,
Часть – в пророках – к Истине ключи.
Но когда приидет Совершенство,
То тогда «от части» – замолчит.

Где была вселенной этой сложность,
Когда я младенец миру был?
Так же по младенчески – как должно –
Рассуждал, мудрил и говорил.

Но я рос – зерном всходил меж плевел.
И Господь явил мне веры – твердь.
Где теперь младенческое тело?
Мужем став, младенчество отверг.

Так же ныне – видим сквозь стекло –
Как младенцы Истину гадаем.
Но когда Она пред нами станет –
Как к лицу приблизится Лицо –
Вот тогда и прекратятся «части».
Все концы пройдет Благая Весть.
Ныне разумею лишь отчасти.
Но познаю – яко познан есть.

Ныне пребывают – три сии –
Держат мир Благословеньем Божиим –
Веры, и Надежды и Любви.
Но Любовь – неизмеримо – больше.

...Обращаюсь к моему Народу –
Не знаком язык, не внятна Весть? –
Не тебе я говорю, но Богу.
Но, Народ, – опомнись, – если есть.
Воспрями! Христу склоняя вайи,
Ненависти оставляй гробы.
Нам Любви – смертельно не хватает...

14.

Родина моя, – держись Любви.

3 января, 2009

Литературные поминки

«11.12. 17-00 Презентация книги ...;

12.12. 17-00 Презентация книги...;

18.12. 17-00 Презентация книги...»

План мероприятий Кировской библиотеки (декабрь 2008)

*Начало Вечерних Богослужений
в Серафимовском соборе (г. Вятка)
в 17 часов. Ежедневно (декабрь – Рождественский пост).*

Расписание на двери Храма

Презентаций ряд – как в ряд могилы...
Нет литературы. – Нет и презентациям числа. –
Согрешили – Господи, помилуй –
«Творчеством» в присутствии Творца. –

Здесь виновник – чует сладость мига,
Отрешенно – в вечность, смотрит в зал.
С ним ново-представленная книга.
Плохо о представленной – нельзя.

Хоть словечко критики – попробуй.
Марш урежь и оторви канкан, –
Так и скажут – он плясал у гроба,
Он в депрессии! – Горе от ума...

Загудят поминки пиром чумным.
Книга – полка. Кладбище – покой.
Ладно, сами – юность неразумную
Тянем в злую яму за собой.

Здесь и дядя, всех крученных круче:
Прочие пред ним – у ног трава.
«Поклонись, – процедит – и получишь,
О своей персоне торжества». –

Протрезвею вмиг и беспощадно.
К тесту – текст, Евангелие – читай...
Я уже смердел в ряду парадном,
Но Господь позволил – выбирай.

Хороша культурная программа! –
По цене – один поклон ему...
... в сводах Серафимовского Храма –
Преклоню колена и главу.

25 декабря, 2008 – 12 января, 2009

Прощанье Вятчанки

Сестрам Великорецкого Крестного хода
Бьет пасхальный над Вяткою колокол.
Рать Христова мостом потекла –
На Великую вслед за Николою,
Я прощаюсь с тобой – как сестра.

Пр.

Господь Саваоф,
Храни Отчий край,
Христову Любовь
Всем верным подай.

Летели века.
Трудилась Река.
И шел Крестный ход.
И ныне – идет.

Божья Матерь ведет нас на битву.
До крови изъязвленных ступней –
Материнскую держим молитву
За мужей и за наших детей.

Грязь и холод. Леса и долины.
Жжет звезда, на рассвете остра.
Я стою за тебя, мой родимый –
Как свеча пред Очами Христа.

Пр.

Хлынет Благовест – встречному строю
Помогая Акафист допеть.
Я к тебе возвратилась женою,
Со Христом победившая смерть.

07 февраля, 2009

Малиновка

Ты не разум, ты взор отвори –
Пешешествовав Русской равниною –
Безыскусным преданьем Любви
Озаряет нам тропку малиновка.

На пороге

Слово – Плоть. Но еще до страниц.
Время зиждется, зыбки пространства.
Светлый Отрок раскрашивал птиц
На порожке Небесного Царства. –

Он не кисточку, душу трудил.
Глин комочки живил вдохновеньем.
Голос цвета дарил – в меру сил,
Сообщенных для жизни, творенью.

Но – одно, возрыдав, возопив –
В тощих ребрышках глас голиафский –
Не желаю быть желтой, лишь – красной!
Не касайся меня! Отпусти!

Он еще никого не учил.
Мир вбирал, мерил меру ответа:
Силу пламени Новой Печи,
Божьих глин первозданную ветхость.

А творенье пищало: «Я – сам!»
Но не птицу, Он видел – народы.
И тогда Он решил – Я отдам
Им самим – это право свободы.

Покоробилась тверди кора,
И моря свои впадины сжали.
И, подобны сведенным зубам,
Скрежетали Скрижали –

Лязг оружия грядущим векам,
Хруст немыслимый всем земным ратям.
Ад разверзся Закону ума,
Рай раскрылся Любви Благодати.

Что прозрел Он? – Неистовство лжи?
Византию, Россию... Европу?
Или – ближе: Иуду? Голгофу?
Но пичужку забыл, отложив.

Каково ей? – Смертельна обида.
Свет бы весь пожрала, как огонь!
И бессилие, клювом изыде,
В распростертую билось Ладонь.

Весь свой род научила: «Не любит –
Не хотел нас раскрасить Творец –
Вот и – серы». Из клювика в клювик
Изливался преданья свинец.

Голгофа

Но Он – помнил о ней. Он отверз
Очи всем, выбирающим зренье.
И, одной из того поколения,
Дал увидеть: Голгофу и Крест. –

Так еще не взымало сердец:
Агнцем рос! И – растерзан, рас-Христан!
Сквозь земное, сквозь птичье – Истиной,
Со-Страданием – Бог в ней Воскрес.

И ударила грудкой о Крест.
Рода тьму покаяньем отчаив, –
Это мы его терном венчали,
До гвоздей наша вызрела месть!

Все пять чувств – в Любовь – в одну охапку,
Мыщ и жил – неимоверный звон. –
Хоть одной занозы выбить шляпку,
Хоть одну освободить Ладонь.

Перья грудки обагрены Кровью.
В слезах – кровь. Кровь – пот. В Крови – душа.
Не умом, не силами – Любовью –
До немоты клюва сталь круша.

Что Любовь? – О, Пригвожденный к Древу, –
Это выбор или приговор? –
Слышала как справа и как слева
Зла с Добром был начат первый спор.

Выбор – Да. Но в чем тогда стремленье –
Злу гвоздей Добра бессильна плоть?
Приближалось Время Искупленья.
Час Девятый взыскивал Копье...

Совершалось. Мир немел постыдно,
Обагрят ветхий окоем.
Сердцем осознала вдруг: Он – видел.
И Он внял намеренье твое. –

Цвет возьми – как Выкуп своеволья.
Роду передай – Вернись к птенцам,
Воспитай – не кормом, – но Любовью
И отныне – Именем Христа.

Смерть – мертва. И зло – умрет. Страданье –
К Жизни Вечной: золото – сквозь горн...
...И не нареченный к целованью
Клюв ее поцеловал Ладонь.

А птенцы всей стайкой голосили,
Клювики – один голодный рот –

Распахнули – Мама! Ты... – Красива!
Как Восток горит твое перо!

И она, осознанной Любовью, –
Только что Призревшей мир с Креста, –
Обнимая их, делилась Кровью,
Украшала Именем Христа.

Знала – Он Воскреснет. И, оставив
Погребальным пеленам Закон,
Мира плоть пройдет Пасхальной Славой
Кровь Неоцененная Его.

Россия

И умолкла. – ...А мир говорил
Языками, и праздники праздновал.
И в созданице с грудкою красною
Было больше, чем в мире, Любви.

И молчали Руси пустыри,
И молились смиренные пустыни.
Умный умствовал, сильный безумствовал.
И Народ не работал Любви.

Он, стеснившийся по городам,
Перестал быть Россией, Народом.
Мой народ, ты обманут свободой.
Но – свой выбор ты делаешь сам.

Плачет сердце малиновки к нам.
Так же Русь без Христа одинока.
Так же крашена Крестным Уроком.
Даль за далью насквозь солона. –

Просо сеяли? – В кровь оросили...
До того, – что каждый дня восход –

Не заря сияет над Россией,
Мучеников кровь трезвит Восток.

Горних душ малиновая стая –
Наш Огнем очищенный Исток. –
Сколько?! – мы по именам не знаем,
Но их знает – Родина и Бог.

Протрезвей Державою непраздных,
Мой народ, забитый от обид.
Нас Христос ждет в Храмах Православных –
В Храм войди – Он ко Кресту прибит.

Встань, Народ, на звон Второй Обедни.
Если – глух, на Пламя Свет иди.
Если слеп, малиновкою бедной
Сердце не удерживай в груди.

Батюшки – не те? А ты – не важничай.
Служба непонятна – потерпи.
Нам урок – Намерение даже
Исправляет к Господу пути.

Выбирай Христовой Правды вехи,
Изучай малиновки труды:
Как детей украсила навеки –
Подвигом? – Намереньем одним!

Господи, я знаю, Ты – Высокий.
Жнешь не сея, собираешь, где не рассыпал...
Но народу моему Уроки
Не талантом Ты, а Кровью дал. –

Доченьки, Царевич, Царь с Царицей –
Прямо стали в револьверный стриг.
Господи, – Не взыскивай с торицей! –
Как Петру, – России длань прости.

Господи, яви нам это Чудо –
За Руку с Тобой пойдем Домой.
Мой народ болел. Он – был Фомой,
Был Петром! Но никогда – Иудой.

Предваряя ада угрызенья,
Русский род, смирившийся – Суд бе –
Выведи, – малиновки прозреньем,
Толикой ее Любви к Тебе.

9 – 23 марта, 2009

В Оптинском Свете

Господи, – в Оптинском Свете
Слов Благодатном огне –
Дай мне с душевным спокойствием встретить
Все в наступающем дне.
Господи, дай мне вполне
Воле предаться Твоей.

...Господи, Ты прежде Света ясен.
Прежде Слова Присносущно Жив.
Будь со мною. В каждом новом часе
Сам меня наставь и поддержи.

Господи, какие бы известия
Ты благословил мне получить. –
Да, не сам я, но с Тобою вместе. –
Их принять достойно научи.

Мир в душе – стяжаньем, а не ролью. –
Да, не дрогнет убеждений твердь:
Знаю, есть на все – Твоя Святая Воля
Кто с Тобой – над тем победы аду нет.

Господи, я Твой незрячий воин.
Полемя дня – да, не впаду в бурьян.
Господи, открой мне Твою волю
Для меня и окружающих меня.

Господи, во всех моих словах,
Помышленьях – лжи не жить отныне –
Сам руководи – будь Божий Страх –
Мыслями и чувствами моими.

Господи, я расшибаюсь лбом –
Непредвиден случай – боль обымет.
Дай тогда – Твое восславить Имя,
Помнить – все ниспослано Тобой.

Господи, учи лукавый ум мой
Обращенье с каждым править правильно.
Старший, равный, младший. Ближний, дальний.
С каждым быть мне – просто и разумно.

Кто и благ из нас? – Один лишь Бог.
Дай же мне смирения отвагу,
Чтоб, не огорчая никого,
Каждому содействовать ко благу.

Господи, день хлынет как поток.
Дай мне сил – течение взять терпеньем.
И перенести все утомленья,
Выстоять в событиях его.

Господи, Своей води Десницей,
Мою волю обращая вспять,
Сам Ты научи меня – молиться,
Надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, на произвол врагам
Не отдай – взыщи заблудшее чадо –
Имени Твоего Святого ради
Сам води и управляй мной Сам.

Господи, мой ум и сердце высшим
Просвети Законам Бытия,
Чтобы я, раб грешный, их поняв,
Правильно служил Тебе и ближним,
Тем, которым отдал Ты меня.

Дай мне жить – Тебя благодаря
Накануне, а не после шага,
Твердо веря: любящим Тебя
Все и вся содействует ко благу.

Новым днем продолжено сражение.
Господи, благослови Ты Сам
Все мои вхожденья, выхожденья,
Дел деянья. Удостой меня

Радостно Тебя восславить пеньем.
Аз – творенье, раб Твой, человек, –
Возношу Тебе благословенье,
Ибо Ты благословен вовек.

25, 28–29 марта, 2009

II. Никольский погост

*Яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение
(Акафист Пресвятой Богородице)*

*В старинных документах его так и называли
«Никольский погост на Великой Реке»
(Великорецкая Икона святителя Николая.
История и современность, Вятка, 2008)*

ПОГОСТ муж. , новг. приход сельский; несколько деревень, под общим управлением и одного прихода; волость; отдельно стоящая на церковной земле церковь, с домами попа и причта, с кладбищем, в нижнем заволжье и новг. село, хотя тут нет ни одной крестьянской избы, а приход раскинут деревнюшками вокруг; ...|Кладбище с церковью вообще; яросл.,орл. всякое кладбище, Божья-нива; церковный двор или место огороженное при церкви; ... Жаль, жаль, а везти на погост (говор., мыши, погребая kota). И жаль батьки, да везти на погост. Несут гостя до погоста. Щеголь с погосту, и гроб за плечами...

*В.И. Даль, Толковый словарь живого
Великорусского языка, 1863-1866*

1. Селение жизни

(опыт становления)

...как на ладони, на высоком просторе Божьей ладони, протянуты миру Храмы Великой Реки. Над миром вознесены. Вся остальная природа чуть ниже, тянется к Божьей ладони, опушкой окружает ее, затаенным дыханием благоговеет. Чудо творения – увалы вятские, волны мира,

несущие на своих покатых раменах – поля ярко-зеленые, бурые заплатки пашен, густые в тесноте хвои наплывы лесов, просветляющиеся к горизонту зубчиком островерхих вершин. Земля и воля. И небо – светло-серое до прозрачного, чистого света воздух невесомый. Живи и люби. Радуйся. Это дар красоты, даром жизни тебе пожалованный. Ты, человек и се: юдоль твоя неизбывная, пересеченная местность, увалы вятские, даль окрестная, место вселения – твоя вселенная. Увидишь однажды, и не отъять уже ни взора, ни сердца от простора Великой Реки. Вбираешь его, сколько хватит души – а хватает! – и он невесомо вбирает тебя, тобою полнится, до времени, пока не только взором, но и всем существом своим станешь вровень Храмам Великой Реки, что взыскуют тебя – доколе медлишь? – на высоком просторе Божьей ладони...

Так явлено Великоорецкое с последнего перед селом привала. Гребень застывшей земной волны оживет на мгновение многотрудным многолюдием Крестного хода. Задышит, зашевелится колыханьем нестройным и замрет на молебне, единым смирением к светлому лику Иконы обращенный, и повторит возвышенно, трудно сквозь слезы и свет: радуйся Николае, Великий Чудотворче! Зашумит листвою согласно, возрадуется на зов человеческий живое сквозь время курган-дерево, древний седой вятский тополь, под ним и встал трудно Крестный ход на молебен, на привал, последний перед Великоорецким селом. Возрадовался вместе тополь седой, живой жизни, – люди вернулись, народ вятский, долго ли, только остов деревеньки погибшей хранить под могучей кроной, живым курганом быть, память сберегая по жизни русской. Курган-дерево – так мой отец тополя вятские звал, знал их, и жил, и рос под ними, вместе с ними, так и слы-

шу всегда горький голос отца по уходящей вятской деревне, падчерице ушедшего века, слышу в высоком шуме высокой кроны, на последнем перед селом Великорецким привале...

С высоты увала на привале видна высота Великорецкая. От заката – Илия Великий, свеча колокольни Илии Пророка, к Востоку – Никольский Храм, византийская строгость и мощь, основность, крепость; срединный – Храм Преображения Господня, ковчег, протяжен, просторен, достоен есть. Вятским простором Великой Рекой – Великорецкая флотилия Святителя Николая, корабли небесного спасения; замерли, вроде; приглядишься, нет – идут, недвижимые, кильватерным строем сквозь вечность.

Рукой бы подать, да даль на высоте такая, не дойти, не осилить дорогу. Так высоко далеки Храмы, что может день пути, а может – вовсе нет пути – как по морю – идти невозможно. Воззвать только, святому апостолу вторя, Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе... Переход последний. Солнце к закату. А силы, силы даже не на исходе. Третий день Крестного хода, и само понятие силы где-то отстало, потерялось. Может, увязло, вчера еще, в непролазной болотине Монастырского луга. А может, и в лесу перед самим селом Монастырским чавкнуло и осталось вместе с галошей в ненасытной вятской грязи. Хороша, кстати, вятская грязь! – жирна и умесиста, к обуви липнет сразу и навсегда. И дружная такая: ставишь ногу – пуд грязи на ней, оторвешь от земли, если оторвать сумеешь, – уже все два...

...Есть силы, нет сил – все это там – в другом мире осталось, в другой жизни. Осталось вместе с теми и у тех осталось, кто в Бобино сошел после или до первой ночевки, а путь до первой ночевки, день Первый, он – выходной всего

лишь, так я его называю, и в том смысле, что Ход выходит, но и по труду пешему – выходной день, уважения он к себе требует, на то и Ход, в нем каждый миг – уважь, и Он тебя уважит; но что такое день рабочий, узнаешь завтра, на день Второй Хода, от Бобино до Монастырского, здесь во втором дне и сбудешься, или – нет? – в труде пешем трудником Крестного хода, до Загарья еще, отработаешь все мыслимые долги свои и уроки, точно так, день второй – день рабочий, только выяснится вдруг, что до Загарья не весь еще день, не вся работа – сверхурочные что ли впереди? Так и есть, Загарье – всего лишь твой рабочий полдень, мыслимое отработал, далее – немыслимое пойдет, до того пойдет, что перестанешь и в Монастырское верить, что есть оно на свете белом, на земле вятской, что Монастырское, себя – забудешь, потеряешь, писателя Крупина ругнешь в сердцах, дай Бог ему, рабу Божьему Владимиру, здравия, расписал – Земля Вятская, Крестный ход! – сам-то где, небось уж на облаке спасается... а здесь, где здесь земля, бездна только, нет уж ни дна, ни покрывки, болотина, да лесина, да грязина, буреломина какая-то, суглинина, и Хода не видно не слышно, и ноги увязли, и на спине не рюкзак уже, а Крест давит к земле... нормальные люди так разве Крестным ходом ходят, светло идут в Торжестве Православия, Радостно идут, Господа Славят, Пресвятую Богородицу Чествуют, Всех Святых Молят... а здесь, куда уж тут славить, гляди только, не отречься как бы... Господи!.. Боже, Боже мой, для чего Ты меня оставил... и услышишь Ход, и трудники подхватят тебя, на ходу, увязшего, вместе с обувкой твоей вытащат, не оставят, и железная дорога ошарашит просто, значит есть жизнь, и земля есть, и кто-то рюкзак твой приподнимет легко, и лямку, скрутив-

шуюся на правом плече, поправит мимоходом, ободрит – сейчас в горку, а там под горку, да через луг, да через лес, немного уже осталось... на всю свою жизнь запомнишь ты это «немного» как Высшую Меру... благословен доживший до Монастырского утра, не свернувшийся, не свихнувшийся с Крестного хода, – идешь по асфальту Монастырскому, свет брезжит, автобусы слева манят – поехали... иди лучше, шлепай по асфальту ступнями, или чем там – тем, что от ног осталось, это уж не ноги, а лапы вроде, шлеп-шлеп, как тюлень по суше, двигаешься и то ладно, правило утреннее на ходу читая, свернешь когда с асфальта, там, совершится или нет, но быть может – потеряешь время, пространство, еще будет казаться тебе, что вроде бы есть – пространство, поля, лесочки, взгорки, овраг, речушка, подъем – тягун, невозможный, рощица березовая... на самом деле всего этого – нет, или почти нет... Третий день хода – это тайна, это – Горохово, это не на земле, вне пространства... знаю опытных трудников, они без Крестного хода и без батюшки сами дойти решили до Горохово – не дошли, потерялись в лесах, на деревья залазили, обезьянами Бога, искали взглядом Храм, купол со Крестом – должен быть виден, не виден – леса и леса, простор необъятный, потом отчаялись, уселись просто на полянке укромной – идти дальше некуда, села нет, и обратной дороги не существует, и день пасмурный, солнца нет, нет ориентиров, заблудились в пространстве, времени тоже не стало, спешить некуда, поели от нечего делать, еды много было с собой – на три дня собирались в Горохово, выпили по на-донушке кружки железной – на посошок, по-русски, простились с миром и друг с другом, прошенья попросили... встали на ноги, молитвы Благодарственные после еды чи-

тать... но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им, приди и к нам, и спаси нас... Обернулся один, сквозь полосочку березняка – Храм проступает, оказывается, они на околице села Горохово сидели якобы... Третий день – это тайна, не гадай ее, придет твое время – откроет Господь... Крестный ход из Вятки на Восток уходит, за Алтаря Вятские, и приходит в Великоорецкое с Востока, Алтарям Великой Реки навстречу, даже если шар земной обогнуть, все равно с запада придешь, а чтобы уйти на Восток и с Востока прийти – иная мера потребна, иная логика... вот это, иное, и сбывается Третьим днем, Великоорецким Крестным ходом... больше пока не скажу ничего, а кому невтерпеж понять, осмыслить – иди ежедневно Крестным ходом пространством Нового Завета, Евангелием иди, Деяниями апостолов иди, не забывай, примечай все, смотри сквозь стекла Святоотеческого учения... одно поприще Евангелия прошел, иди дальше, два поприща Деяний, и Псалтирь еще, псалом, а лучше – кафизму, если осилишь, так святитель Игнатий Брянчанинов ходил и нам советовал – и совершится или нет, если Богу будет угодно, откроется тебе самому село Великоорецкое, и не только, а и сам Крестный ход, как на ладони... на высоком просторе Божьей ладони... не гордись только, – говорю я себе, не считай ни Ходы, ни годы... досчитался однажды, к исповеди подошел, каюсь, а каяться не умею, покаяния нет во мне, все бы рассудить, да размыслить, да как-то бы перед батюшкой не совсем уж пропащим предстать... перед Господом все твои ужимки мысленные как на ладони, не думаешь... да ведь и перед батюшкой как на ладони... а прячусь, Ходом прикрыться решил: не понимаю, говорю, что со мной произошло, ведь я десять лет Ходом хожу... Внимательно смотрел на меня

батюшка с теплой иронией в глазах, как на карапуза смотрят, когда он щеки надует: я большой... а штаны только что меняли... И сказал батюшка тихо так, ровно: «Да чего уж ты там ходишь-то...», – так не вопросом и не упреком, тоже – рассудил мне, в моей же интонации, и я себя переспросил... и так легко стало и – пусто... нет никаких десяти лет и не было... и Крест Христов... суесловить страшно... расписались расписыватели, крестоходцы мы, – говорят, это как? Крестом что ли ходят... крестоносцы еще были, те тоже несли чего-то... сам я хуже еще всех вместе взятых, гордился, безумный, думал долгое время – иду в Крестный ход, как по Евангелию живу, взял Крест свой, за Господом следую... а в тот миг, как облегчился мной Крестный ход, всеми десятью моими годами, несущими – понял я какое отношение ко Кресту имею... пошел в Крестный ход – уцепился за Крест Христов и – висишь себе, языком и ногами болтаешь... Господь Крест несет... в рабском виде Царь Небесный вятской юдолью идет, в грязи по колено утопает, ты еще на Кресте висишь с рюкзачищем своим, распрямляется Господь под Крестом – благословляет селенья вятские бедные, народ изможденный... край родной долготерпенья, край ты русского народа... раб Божий Федор, русский поэт Тютчев, чиновник, был высочайшего ранга государственный служащий, а Христа живым видел, через боль народа родного увидел Христа, прямо по Второй заповеди – возлюби ближнего своего, второй заповедью, со Христом рядом пошел, под Крест Христов плечо подставлял, с Русской литературой вместе, Любовью неизбывной к России, Молитвой... без молитвы Христа не увидеть, народа своего не узнать, Креста на плечах не изведать, а изведав – не вынести... Молись, брат, молись, сестра – нет другого дела

в Крестном ходу – Молитва, труд молитвенный, потому и – трудник, а иначе – висельник на Кресте Христовом...

...В привычном времени и пространстве обретешь себя только на последнем перед селом Великоорецким привале, да тебе уж не до обретений будет, уже не до времени, не до пространства, не до «есть силы – нет сил», не думаешь больше – все исчезли понятия мира земного. И преподобный наш Батюшка Леонид Усть-Недумский порадует за тебя наконец-то, сколько он твердил тебе – «не думай», а ты все слушать не хотел, не умел... выучился на последнем привале, перестал думать. Мыслей нет, сил нет... хорошо-то как... только Бог Один и остался, Пресвятая Троица, вместе, и Икона святителя Николая с Народом своим. Но оказывается достаточно и этого, чтобы идти и идти.

Вот поднимают Хоругви, Икону – на плечи. Встает Крестный ход на молебен. Третий день пути. Последний переход. До Великоорецкого. И помолились, и пошли, и пошли. Чудом. Под гору с холма – само идетя, ноша за плечами вперед толкает – ноги успевай переставлять. Поле, лесом, болотинка опять, луговая, не до нее, над ней ноги летят, и не заметил как вновь ноги ногами стали, даже и удивиться некогда... здесь скорость Крестного хода равна, или больше, скорости Света, понять не можешь, потому что вместе движешься с системой отсчета, со Светом Самим. Мельком видишь – люди стоят на пути – кто нарядный, кто растерянный, недоуменный, изумленный: «Как это? Откуда? – Крест и фонарь впереди, за ними Хоругви высокие золотом льют, Икона меж ними – что это?». Ход Крестный. И асфальт вдруг под ногами, перед глазами табличка белая на белом железном столбе просто буднично «ВЕЛИКО-

РЕЦКОЕ» – черной буквой к букве черной, ярко на белом. И всего лишь. Всего лишь? Ты иди к этим буквам денно и ночью. До мозолей и слез, до обиды и боли – иди и дойди. И станут буквы не географией просто – Словом... Жизнью твоей... Мерой Жизни... Высшей Мерой.

Первый раз в жизни пришел я в село Великорецкое пешком. Из Вятки пришел. И дату помню – пятое июня. Помню – не памятью крепкой – день недели назвать не могу, – не знал тогда. Сейчас – знаю. Про Византийское время худо-бедно слышал еще народ Православный, а вот про Великой Реки календарь – это вряд ли... По календарю Великой Реки, обретение Крестного хода на Ее Берегу совершается накануне Воскресения Христова, значит – в Вечер Великой Субботы. Великорецкий Крестный ход в этот именно День, год за годом, в вечер, часам к пяти, вступает в Великорецкое. Так и я пришел, сам, как тогда мне казалось, своими ногами, Крестным ходом, мечталось так.

Что явно во мне от того моего первого Дня, Великой Субботы на Великой Реке? Помню – надпись прочел «Великорецкое» и ожили глаза, влажно стало глазам и радужно, задрожал мир окрестный, словно, отражение чистое. И открылась, в отражении зыбкая, цепочка людей в светлых одеждах чистых – узенькая цепочка – ряд один, перегородили дорогу возле среднего Храма. Я и не знал еще – что Преображенский это, в честь Преображения Господня. Ближе – стали видны Хоругви. Встречали с Хоругвями – нашим Хоругвям навстречу. Батюшка в красном облачении со Крестом – Крест большой и сияющий, издалика был виден – в руках у батюшки. Подошли мы вплотную, и – цепочка людей расступилась, образуя проход между

Хоругвями. И Крестный ход стеснился, степенно хлынул в открытое пространство. А батюшка каждого – каждого кропил, каждому подносил крест к губам, и в момент целования крестного щедро кропил. В этот миг – миг целования Креста, и хлынули у меня слезы, и смешались со Святой Водой. Это впервые со мной в жизни было. А было мне тогда тридцать пять лет от роду. Слезы счастья – вот они какие – я это пережил.

Идет Крестный ход – идет, меняется жизнь в селе Великорецком. С каждым годом – выше и выше – к Богу ближе, как дерево живое. И крепче ствол, и корни глубже. Сейчас не просто Храмы – монастырь мужской Николо-Великорецкий Преображенский. Ограда каменная вокруг Храмов скрепой надежной.

Никогда не забуду, как я впервые с Крестным ходом на ограду вышел. Ходил, мечтал, что – хожу, лет несколько к этому моменту. Потрясение, иначе не скажешь. Вошли в Великорецкое – Радость. Сил нет, на радости привычной и идешь. Да мысли еще – где с ночлегом Господь приведет? И вдруг словно голову понесло, словно закружило меня, мир поплыл. Буквально – вращение планеты Земля почувствовал под ногами – сейчас – сбросит. Удержался – первая мысль: Храмы никак не могли переставить, неужели переставили – катавасия мысленная: Радость не делась ведь никуда, мир только поплыл. Потом как-то все прочнее на земле, ноги почувствовал, потом и ум возвратился, через взгляд соображать начал. Дорога наша прямо во Врата, металлические узорчатые, каменным сводом замкнутые, ведет, прямо за вратами громада Собора Никольского. Крестный Ход прямо на со-

бор вышел. Я этот собор впервые так увидел, вообще – увидел. Потом, когда впечатления разобрал, понял. Асфальт дороги, не доходя до Никольского Собора, плавно влево берет, вдоль Храмов. А собор закрыт всегда был. Мы мимо него к Преображенскому, где Ход всегда встречают. Вот и получалось, что буквально – мимо. Как будто и нет Храма. От врат, вправо-влево, стена белая на каменном основании со столбами каменными, меж столбов также ограда металлическая узорчатая. Оказалось, ограду возводить начали еще до того, как Монастырь здесь укрепился. Пожертвовал кто-то средства, работы оплатил. Потом – Монастырь. И ограда получается – без благословения. Да еще и белить надо было камень, а его белой краской покрасили. Но устояла ограда. Это важно – Ограда. Научимся молиться по настоящему, так и нашу Великорецкую Ограду, как и Дивеевскую Твердыню, – враг одолеть не сможет, быть может, от нас это зависит, от каждого. Исполним если Божие намерение, здесь на Великой Реке и спасемся. Едут люди в Великорецкое, селятся, строятся. Верят.

Ограда – сосредоточила сердце села. Все Великорецкое подобралось, подтянулось к ограде. Так и тело едино, хотя много уделов имеет. И каждый удел не отдельный, но вместе – тело. Если сердце самое себя забывать начинает, то остальным уделам тела что делать? Вот и – свобода: рука – не нога, и глаз – не ухо, отныне – сами себе хозяева. Живи наконец-то, себе сам царствуй, отдельно. Зачем вдруг жизнь исчезает? – А исчезает устойчиво – все уделы тела обратно в одно – только в смерть уже собирает – неЖизнью. Тут и прозреешь, свободный, да – поздно. Но вот подобралось сердце, вспомнило жизни работу, ответственность свою – Богу ответ

держат – Страшно. Ударило тогда в колокол: Аз – Сердце. Толкнуло ток жизни – уделы очнулись, – смиренные ныне, дошла на Пороге Истина Жизни. Подчинились – да счастливы! – в работу кинулись телом единым, опамятавались – Радость какая, вместе.

Так и ограда монастырская. Сердце села обозначила. В жизнь разбудила. Жизнь-то продлится? – Вновь от уделов зависит. Снова свобода выбора – сами решайте, Он не неволит.

Стоит на высоком увале Великорецкое, прибрано к Храмам, строим Церковным устроено. Линия Храмов осью дороги подчеркнута. И два предела – правый на юг и левый, северный, так, если навстречу Ходу смотреть, на Восток, лицом на Алтарь. Северный предел – на плоскости, к самой ограде прикроен. Южный, к земле приная плотней, из низины взбирается на гору. И по селенью всему – ростом и кроной вольны – тополя богатырские, каждый как будто охапка, одна – в десять деревьев. Сила и Радость. Может они, тополя, Великорецкое Небу держали, сердце пока собиралось Жизни?

Есть где рассыпаться Крестному ходу – в ограде. – Дошли! – слезы, объятия, целование. Среди счастья народного чин высокий, худющий, как волк, голову в плечи втянул, сгорбил, присел даже, озирается затравлено, не понимает, что происходит, это народ, дяденька, русский народ православный, вот-вот, ему ты и служишь якобы, помни Великорецкое, может, не поздно еще, дела самовластные по совести выправить. Счастье какое – дошли! И забываем, а многие ведать не ведают, что путь Иконы – еще не весь пройден, хоть и рукой подать, а еще подать надо. Спокойно, не заметно для большинства, уходит Ико-

на дальше – на Берег реки Великой, тем же асфальтом, западными воротами покидает ограду вместе с верными.

За оградой, по правую руку – поле просторное, проселком, пыльного золота – в цвет, по диагонали, на северо-запад прочеркнутое, дальней частью поля – стоит замороженно соснячок-подросток, за ним, словно для пригляда за юностью, взрослый уже сосняк, вековой, стремительный – яркими мачтами стволов, густо-зеленый вверху, мощный, в нем, при стволах, при корнях дерев, городок больничный, домишки дощатые. По левую руку на юг – Царство Небесное, Рай пресветлый – кладбище тихое – за заборчиком редким, в лесу – приют последний тех, чей труд жизни исполнен. – Погост на Никольском Погосте, один из малых омутов Великой Реки. По этой дороге и идем, вдоль погоста, кладбища...

...Русское слово Погост, сколько вбирает в себя Любви и Веры Народной, тайны сердечной. Погост – Церковь Божия Православная стоит среди деревенюшек малых, и словно в гости зовет жителей, погостить приходите, приходят, гостят на Погосте в Церкви, у Господа. Сколько же Веры и сколько Любви в Народе – у Бога все живы. В мире земной жизни мы гости, погостить пришли, но и на кладбище не постоянные постояльцы, а до Страшного Суда только, для того и ложимся на русские погосты – ногами на Восток, чтобы, придет когда срок, и встать сразу – лицом к Востоку, вертеться, поворачиваться некогда будет, там все быстро пойдет, со скоростью Света, со скоростью Конца Света. Православие народа моего, и Церковь, и Вера... и Божия Тайна, в том, что Православие – это жизненный состав русского человека, кровь,

душа, сплетенье солнечное, мировоззрение, миропонимание, картина мира. Русский народ – мироустройство, замысл Творца о мире сотворенном прямым Наитием получает, в дар с совестью вместе, отсюда и русское слово, такое – что неисчерпаемо в смыслах, Погост – одно из таких русских слов... Погост встречает-проводит трудников Крестного хода и на самом выходе из Вятки, соберется Крестный ход в народ единый, под светлым приглядом Пресвятой Троицы, сосредоточится, подтянутся отстающие, охолонут чуток пред-идущие; не пора ли? – пора, и – излиется разноцветье и многолюдье, многотрудием Великой Реки стать готовясь, но еще бодры и строптивы, вот и погост городской, вразумление от святого Макария Желтоводского, летит благовестие золотое по сини небесной колоколами ковкими Церкви Троицкой села Макарье. Верь глазам своим, клади Крестное знамя, памятное, благодарное, покаянное, – вдоль кладбища идем, они там все – как мы были, мимо погостов легко шли, а мы как они будем, и мимо нас пойдут неизбежно, представь, что ты там уже, мимо себя самого идешь, – щеголь с погосту и гроб за плечами, – вот и иди, не щеголем, трудником иди, – как должно. За Макарьевским погостом сразу принимает Крестный ход влево, на север, повернул Крестный ход в поля... Два кладбища, два погоста – начало пути и венец пути – Великорецкое, Берег. Шесть столетий как обещали Богу прародители рода вятского – приносить Икону святителя Николая с берега Вятки на Берег Великой Реки в День чудесного обретения Образа. И провожают Икону и встречают. Они – шли, мы идем. Слово держать надо. Живое Слово в народе – жив и народ.

...асфальт – под гору. И на горе еще вдруг растеряется взгляд, сердце толкает кадык, в горле пульсирует. Снова просторная даль, только душе и посильная для восхищения. Выдохнешь всуе, невольно – Господи! – сколько земли, сколько воли зеленой и неба просторного, все это нам? Долго нельзя так смотреть – сердце может не выдержать. Силы такие даны только крестам кладбищенским да соснам высоким над берегом. Уходим вниз – до семидесяти семижды шагов и шажков – вот и Берег реки Великой.

Вдоль по течению – Великая на юг идет к старшей реке-сестрице Вятке – вытянута вдоль берега, выкроена из островерхого густого хвойного леса полянка просторная. На полянке, ближе к соснам и елям, Алтарь стоит. Высокий бревенчатый, крыша в два конька крест на крест, из перекрестья вырастает словно, на долгой шее, купол, медью обшитый. Врата Алтаря дощатые продольные, вблизи огромные, и отворяются они раз в год – и был Вечер, и было Утро – День Праздника, Воскресенье Христово видевшие. Выше, против течения реки, – место горнее – гора со сносная крутая, там, наверху, Образ был явлен. Под горой тоже полянка, выше первой, но поскромнее, посдержанней. Здесь – и Купель, и Источник – два бревенчатых домика под куполами, Крестами – как бы часовенки внешне.

Перед Алтарем, чуть поодаль от врат – к реке, возвышение – холм невысокий плитами серыми покрыт – и столп на нем прямоугольный – Престол для Иконы. Занимает свое святое место на Берегу Великой святитель Николай архиепископ Мир Ликийских Чудотворец. – Слава Богу! – Теперь – дошли. – Радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Дошли. Замыкается на берегу Великой кольцо года. Завтра – Воскресение. Какой бы ни был день недели, у тех, кто

с Иконой, – Воскресение. Вятская Пасха. Так определил Господь, власть имеющий над временем и пространством. Повернешься лицом к реке: Великая, – Здравствуй.

Река Великая не велика, не широка здесь, но – значима, может, как месяц в сравнении с годом. Течение глазу невидимое – гладь. Цвет воды – холодный, спокойный, пасмурный. Правый, западный, противоположный берег – пологий, луга, ивняк ближе к воде, легкая стража лесная. Левый, наш, с Иконой – высокий, осыпистый, лес-великан вплотную к краю, но там, где полянка – высота смиряется почти вровень с рекой, берегом правым. Плавной лукой выгнуты здесь берега от востока к западу.

И был Вечер. Служба вечерняя на Берегу. Исповедь. Батюшки вокруг Алтаря стоят – к ним, к Алтарю, как лучи обратнo к солнцу, тянутся очереди трудников. Золото епитрахилей реет над головами. Идет Исповедь. И так до самой Ночи. Не до темна только, а до темени непроглядной, до Холода неминуемого, загадочного в своей сосредоточенной отрешенности. Окутает он ближе к полуночи Берег, поляну, Алтарь, людей, кто не спрятался, наверх не утек. Не у горизонта, как виделось с горы, а здесь Небо сроднилось Земле, всей силой, предсердием лунным своим прижалось к Берегу, слушает. И жизни токи мерными ударами тревожат сомкнувшееся мирозданье, или в висках стучит от холода и усталости? Ходит в тесноте мира, протискиваясь меж звезд, внимательный Холод. Словно понять, разуместь желает – что это здесь. И чем крепче думает, тем острее людям, тем неподвижнее они, шевельнись – и звездные иглы пронзают. И – Исповедался – и бежишь наверх – благо, если с ночлегом. Упасть скорее до Утра. Но не все так. Избранные, верные, остаются с Иконой и будут с ней и до

Света и дальше, всегда. Спроси их про холод – они не поймут: от Иконы разве холод бывает? – Тепло только – и будут смотреть на тебя с любовью недоуменной, ласковой – неужели не знаешь? Много званных. Избранных мало, но они есть. Всегда.

И было Утро. Рассвет, платиновая искренность рос по зеленому шелку, зыбкое блуждание тумана над чистым зеркалом Реки, густое молчание высокой хвои, видимая зыбь человеческого дыхания, словно души трепетали, едва не отлетая, у самых губ, на грани выдоха – вдоха земного мира небесному. До Солнца еще в таинственных недрах Алтаря взялся Агнец, берущий на Себя грехи мира. Молнией пронзения замерло в двух тысячелетиях от Великорецкого на высокой Голгофе безъязыкое копие, готовое прозирать плоть пространств и времен; свершится скоро – Кровь и вода наполнят Чашу.

Мироздание замерло в таинстве зарождения Евхаристии.

Рождество Христа, совершавшееся в ночи, при неведении людей Великорецким Алтарем, не знающем завесы, Пасхально распахнуто Миру. И предстоящие здесь уже ли на земле они? – нет... Распахнуты пред ними Врата Царствия Небесного. Разгорается Пламя Спасения, щедро лиется из Алтаря прямо на сено людское, по поляне пышно протрушенное, полыхнет ли? – словно ко отрокам еврейским во печь огненную пламень в росу переложившим Нисходит – ступни сбитые в кровь влагой небесной объята, да неопалимся.

...Вечери Твоя тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем...

...Над селом солнце с Востока взойдет в раннюю рань еще, в свежести матовой, зябкой. Но лишь в Совершении Таинства осторожно и бережно и Берег приветит. Лица к себе обращая – «Смотрите! – Играет!». Отныне – вместе Селенье и Берег, миром единым, под Солнцем одним.

Солнцу работу Любви выполнять в Праздник особая мера. Сверится солнце с линией Храмов – ликом ясным поведет, влево чуть, вправо – точно по Божьему прочерку. И – расправляет лучи, бережно и осторожно, словно ладонь раскрывает, Рай затаившую. В миг этот Храмы селу, как Священник с Евангелием, правят молебен – От Иоанна... Евангелия чтение: В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово, – не шелохнутся дома, затаили дыхание, телом единым – селением, погостом всем, сгрудились к Батюшке, крыш присмирили князьки, ниже и ближе главою взыскуют Евангелие.

...Удивительно возвращаться после ранней Литургии в мир села, идти вверх по асфальту на Храмы, на солнце. Навстречу – к архиерейской службе – движется тесная людская река, кем-то лобызает тебя троекратно, руку жмет, плечи живит – левое, правое – тормозит тебя, закручивает ненастойчиво, за собой увлекает. Но нет – вверх идешь: тело тоже уважить надо. Слушала ведь плоть твоя усталая душу твою летящую, когда та, не свет еще, на раннюю службу летела – именно; костям да мясу – волчья сыть, грехов мешок – куда уж лететь, но двигалась плоть, грешная – не выспавшаяся, не отдохнувшая, изможденная – за душой следом. Последование ко Причастию глазами читала. Трудилась. Слушалась. Теперь сама просит – кофе кружечку да шоколадку, с Вятки еще припасенную, на этот как раз случай.

В селе в это время тихо, утренне. Благолепно.

Слева от Храмов, на север, ровного места достаточно, и дома здесь с достоинством стоят лицом к улицам просторным, не теснятся, свое место знают. И у каждого дома за спиной надел земельный – где травой яркой покрытый, где лишь пашня еще бурая, таинство урожая таящая, домов – с полсотни, наверное.

Труженик правый придел, в гору поднимается к Храмам, здесь дома реже, еще просторней стоят, наделы раскидистей. Правильно, так и в Храме – на мужской половине – свободнее.

Было для меня долгое время: Село – это Храмы и Берег. Однажды решилось с ночлегом на втором этаже домишки, двухэтажного каменного, с ветхим дощатым преддверием, вроде сеней по домишкину росту. Сам домишко стоит на краю полянки меж колокольной Илии-пророка и Преображенским Храмом. По центру полянки прямо на линии Храмов – черемуха раскидистая, а левее, если лицом на Восток стоять, на Преображение – как раз домишко этот, сени домишкины, черной от времени доски, чуть скосбочены, покосились, прихрамывают, вроде, на ближний угол. Домишко, домишко – спасибо тебе, ветхий приют ветхого меня, человека, и дай Бог тебе жизни. В Великорецком – как? Ночлег нашел – счастлив. Ничего больше не надо. Все остальное – с Иконой. Но потом закрыл мне свои двери домишко. И лишился я кровя Великорецкого – негде главу подклонить. Пришло время с селом знакомиться. Познакомился. И без ночлега Николай Чудотворец не оставляет. И селу я теперь не чужой. Многим домам поклонился, во многих домах – милостью приюта одарен был.

И открылось однажды мне здесь, как раз на мужской половине, чудо творения. Выпал ночлег мне на улицу ниже от Храмов – я и не знал, что там улица есть – обычная деревенская улица, дома – рядом. Разглядывать – некогда. Пока вечерняя служба, исповедь – и темень уже. Утром – Литургия.

А вот после ранней службы – прошел я по этой улочке на восток, на солнце раннее, от которого не жар еще, а лишь ласка – тепло и радость. Улица по низинке идет. И за домами... замер я на краю. Стою как на ободке чаши зеленой, золотом света залитой. И картина предо мной. Живая, но картина. Потому что нет такой реальности в веке нашем заполошном – быть не может. По низу чаши – прудик, ряской светло-зеленой заботливо украшенный. По форме почти окружность, и через эту идиллию – мостик деревянный – серенький, зыбкий – перильца невесомые ветхие. По воде – уточки всякие, гуси – живность. Но живность степенная, не суетливая, достоинство мест соблюдающая, и солнце над всем этим, и птиц голоса, и ни одного человека. Я – только. Но и меня словно не стало – стою, и даже сердце мое ребра уже не тревожит, и легкие – в покое, душа взяла на себя и дыхание, и жизни работу, душой дышу. Господи, где я? Ни времени нет, ни пространства. Только чаша эта – образ бытия земного, каким оно задумано. Каким быть должно и зачем должно – здесь внятно зрению, слуху, обонянию. И вот здесь – вокруг этого всего – пятнадцать-двадцать тысяч народу рассеяно? Быть не может. Было.

Я потом даже вернуться на это место боялся. Думал, нет там ничего. А то что видел – восхищен был в другие измерения. Но нет, вернулся – все на месте, и прудик, и мостик,

и живность. И даже котяра – могучий такой, несуетный, черный – словно в рясе зимней, этот-то уж не послушник – из созерцателей – на досточках мостика сидит – добавился в картину. Прошел я по мостику – держит. Чего сидишь, Котя? – спросил я его. И звук есть – реальность все-таки. Посмотрел он на меня, внимательный. Стыдно мне стало: ничего я умнее спросить не мог выдумать. Да и вообще – тишину зачем тревожить. Хотел голос проверить.

Вторая половина дня шестого июня – мир в основном весь наверху, за Храмами, устремлен в сторону Вятки, уже торопится домой, грузится в автобусы, машины – гости разъезжаются... с погосту... Гости съезжались на дачу... Гости разъезжались с погоста... Пушкинский день России – на шестое июня также назначен, а в нашем столетии восьмого июня должен быть, двадцать шестого мая как было, так и есть – день один, с датами разобраться не можем, а еще смыслы толковать пытаемся... Гости съезжали с погоста... вниз, в жизнь, которая – смерть...

Неужели все?

Праздник обретения Чудотворного Образа Святителя Николая отыграл переливами восходящего солнца, отпылал высоким рассветным пламенем Евхаристии в прибрежном, похожем на огромную дощатую часовню, Алтаре, отпел ангельскими голосами архиерейского Богослужения, рассыпался мириадами солнечно-серебрянных брызг по счастливым лицам народа, предстоящего на Водо-Святии, устремился в высь к колоколам Колокольни Пророка Илии, заявил о себе первым торжественным, исполненным значимости мощным ударом колокола, непонятно еще – грозным или счастливым, и пролился вдруг, хлынул, хлынул

по всей округе, высоким веселым Радостным Пасхальным перебоем колоколов, на весь, казалось, необъятный мир, на все немислимое земное пространство, на всю Мира Околицу, и в Небо, в Небо пошел всей Своей Радостной необъятной силой, а Оттуда, с Небес, ответил уже и Николай Чудотворец небесным кроплением, на дождик очень похожим, осеняя всех, притекших к Нему.

После Небесного Благословения Праздник затаил дыхание на этой неподвластной земным измерениям высоте и тихо, незаметно, словно выдох, пошел на убыль, стихая, выравнивая дыхание пространства. И Икона покидает Берег, вверх идет, в Храм Преображения, там верных будет ждать к полуночи, к первому часу нового дня.

Все неужели? – спрашивает солнце вслед уходящей вверх Иконе и нехотя, медленно намечает путь с высоты полудня – вниз, очеркивая сплошной полосой тени, как на ступенях Ахазовых, свои шаги, по асфальтовому спуску на Берег. На самом деле солнечная тень не скользит вниз по асфальту, солнце до самого своего закатного мгновения будет видеть Храмы, смотреть на Них, только уже не вровень, а снизу, и все-таки в этот день – кажется именно так – солнечная тень уходит вниз по ступеням, потому что однажды солнцу предстоит по этим ступеням вернуться, вверх пойти, вслед за Иконой...

Сегодня, вновь, солнце уходит. И там, на Берегу, последняя сверка, последнее прощание минувшего дня. Солнце становится против Алтаря, смотрит в Его запахнутые, надежно затворенные и замкнутые замком ровно на год врата.

Видит людей на берегу. Левее, где под самой сосновой горой – два бревенчатых домика, увенчанные крестами на деревянных же куполах, в одном – струится неиссякаемый

Родник – Источник Святителя Николая, в другом – Купель Святителя Николая, исполненная Живой Родниковой воды. Там, возле домиков, еще длится, хотя уже с меньшим против дневного накалом, тихая, а порой и не очень, сдержанно-усердная битва, очередь к Роднику, очередь к Купели... битва за благодать...

Благодать, Она – есть, Она совсем рядом, но чуть правее – здесь же, рядом, на Берегу на просторной зеленой поляне пред Алтарем. Здесь в основном трудники Крестного хода. Ночью, в первый час нового дня, они трудно встанут на молебен, примут на свои плечи Великорецкий Чудотворный Образ Святителя Николая – только трое из них подставят Образу плечо? – так выполнено походное основание Иконы – две рукояти впереди, одна за спиной Образа – трое? – нет, каждый из верных подставит свое плечо, и на каждое верное плечо ляжет отполированная десятками лет рукоять – примут на плечи Икону и, сделав первый шаг, вновь возьмут под ноги трудную неготовую дорогу и пойдут, и пойдут, все увереннее и тверже ступая, втягиваясь каждым шагом в бремя самого великого на земле труда – работы Господу. Что ждет их на этом пути – дождь или снег, серебряная изморозь на буйных травах, ледяная роса, непролазная грязь или непроходимый удушливый зной, и комары, и клещи, и мозоли... точно будет – Сошествие во ад Медянского Бора... сами Медяны... пыль египетская, тьма непроглядная... и затыжной подъем на гору, с которой, как на ладони, вдруг откроется все Мурыгино – место последнего перед Вяткой ночлега... Все остальное не в их власти и воле. В их власти и воле было только одно – ответить себе: иду или не иду. И они сделали свой выбор.

Вечером шестого июня трудники, решившиеся на обратный путь, просто отдыхают. Кто-то наверху, в селе, уже отходит ко сну. Кто-то вышел на Берег. Проститься с Великой, войти в те же стремительные ее, свежие воды, и дважды, и трижды, как год, как десять лет назад, помериться силой с течением, или просто сидеть на берегу, на поляне, перекрестившись, поклониться Алтарю, просто посмотреть – на воду, на деревья, на небо, на смиренное ласковое вечернее солнце... Просто быть, просто жить. К пяти вечера на Берег выйдут батюшки, к ним соберется народ – не многочисленный: кто может, кто хочет, кто в силах – встанут лицами к Алтарю, и прольется над Берегом Великой Реки Акафист Святителю Николаю, завершая счастливое утомление и Радость минувшего дня.

Накануне Акафиста весь Берег исполнен блаженного состояния покоя. Покой разлит над рекой, над поляной, над Алтарем. Покой и благодать – отдохновение. Такое состояние бывает у человека после серьезной, большой, осмысленной и нужной работы, трудной и необходимой. Труд – совершен. И человек – отдыхает. Сидит или прилег – неважно, дыхание ровное, спокойное. Ритмично работает сердце, кровь тихо струится по изможденным жилам, омывая их, питая жизнью новой, легкие сами собой, не воздух только вбирают, но благодать и покой принимают в себя, а выдыхают усталость, заботу, с каждым выдохом легче и легче, светлее, чище человек – это работа покоя, работа жизни. Знает человек и весь Берег знает, что впереди снова серьезное дело и другие дела, и жизнь, и заботы. Но это неважно сейчас. В сей час на душе – хорошо, хорошо не восторгом – сил нет на восторг, все взято работой, а радостью хорошо, на душе – тихое умиротворенное

творение счастья в тебе и вокруг, ощущение нужности своей жизни, не напрасности ее, необходимости лично тебя и в жизни, и в деле своем.

Вечер на Берегу Великой накануне Акафиста. Не человек отдыхает, не трудник. Исполнен Благодати весь окружающий мир – Берег Великой Реки, река Великая, деревья, трава, небо, солнце закатное невысокое, а человек и муравей даже, по-будничному суетливый, спешащий по делу, – все живое – лишь состав Благодати. Человек, живи и удивляйся, люби и помни – так ли, верно, было тебе в Раю, еще до всего того, что ты сам своим свободным выбором выбрал... Здесь открывается немисленный смысл Вятской Пасхи... переживешь однажды опытом личным, здесь, на Берегу Великой Реки, услышишь жилами сердечными токи крови пятнадцатой главы святого апостола Павла послания Коринфянам первого, от стиха первого до стиха пятьдесят восьмого... произнести, повторить побоишься, а Евангелие будет читать и читать в тебе... Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?.. значит, правда, так и есть все на самом деле, шестого июня на Берегу Великой Реки, как в шестой главе того же послания апостола Павла, стихом четырнадцатым ...Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею...

Солнца больше нет, ушло, исчезло, но свет еще здесь, на земле. Великорецкое стихает, погружается в сон. Крестный ход преподает миру Византийское время, время Афона, время природы: Солнце зашло – Полночь.

Земным же часам считать и считать еще до полуночи. Но досчитают честно. И возгласят сдержанно Великорецкие колокола первый час нового дня, первый час ночи. Пора на

Молебен. Затеплится электрический свет в Великорецких окошках, лунный свет яркостью своей неживой удивляя. И потекут к Храмам трудники. Плотней и плотнее – к Иконе, больше и больше. Ближе и ближе к Богу теснится Молебен. Голоса крепче. Победную песнь пояшее вопияше. Выбеленный недоумением лунный зрак сторожит над миром, осторожен, тревожит мироздание сдержанный колокол Великорецкий...

...некоторый трудник бежит бегом, шагом быстрым шагает – успеть к Роднику и Купели. Проститься. Тихие часовенки. И нет никого. Пустынно. И льется вода. Живая. Живи и ты. Крестись, Молись, Люби. Лицо омой и душу, умойся и губами вбирай, и – зубы ломит. И ломит в Купели тело – весь окован живой родниковой радостью свежей, душа занимается, первозданной льдинкой немеет, пытается дух захватывать... Лети по ступеням из родника ледяного вверх к Богу прямо с телом вместе. Липнет одежда к свежей влаге. Поспешай, торопись – Ход не ушел бы... И вдруг замираешь. Огонь занялся в существе твоём самом утробном – не жар, но такое – Огонь Благодатный? – во всем существе – нет слов человеку – высоко и страшно, сейчас разгорится, захватит Дух, захватывает уже и тело и душу в одно собирает – тепло не тепло – такое, что без имени земного. И отрок рода русского Ваня – Ванюша, двенадцати лет отрок, выдохнет изумленно: Отец, я себя чувствую как-то, чувствую – необычайно...

Кто это пережил – жил здесь недаром, а в Дар, всей полной мерой Божьего дара жизни земной человеку исполнен, исполнился.

Уходит Ход – Прощай, Великорецкое. Не частят, не рыдают, не радуются колокола – работают, ритм сообщают

ходу размеренный и высокий. Вышла из Хода старушка – сухонькая, светлая, легкая – платочек, морщинки, глаза молодые от света, от слез – Крестится на Храмы, на Кресты высокие. Ход мимо течет. «Спасибо, Господи, Господь-батюшка. Последний раз привел сходить на Великую», – все уже знает она.

И табличка обратная на Выходе. Великорецкое. Перечеркнуто только зачем-то, безоговорочной красной жирной чертой прямо по буквам зачеркнуто. Как же? Все неужели?

Уходит Ход. Шаг за шагом... Прощай, Великорецкое, прости... свидимся ли еще... как Господь... Если Богу будет угодно.

Анин колокол

В день праздника бьют в селе Великорецком колокола. Наперебой Пасхальным бьют боем. Разливается радость звонкая по всей округе. Солнце высоко сияет.

Это – День обретения чудотворного образа Святителя Николая – шестое июня. Вятская Пасха.

По правую руку от входа на колокольню Илии Пророка, у белой стены стоит женщина. Невысокая, средних лет, платочек белый под подбородком на два узла завязан, прядь русая из-под платка, глаза серые, губы тонкие и нижняя губа чуть закушена. И от этого кажется, что на лице улыбка тихая, не миру обращенная, а внутрь себя, самой себе улыбка, чему-то светлому в себе и печальному одновременно. Цвет лица нежно-розовый – солнцем сожженный, особенно щеки и нос, – смотреть больно. Видно, что не автобусом на праздник приехала, а своими ногами, Крестным

ходом, Святителю Николаю поклониться пришла. Стоит она, чуть склонив голову к левому плечу, руки на груди крест на крест, почти как перед причастием, сложены, только левая ладонь не на правом плече, а щеки касается.

Прямо напротив входа хлопочет веселая стайка молодежи. Девушки одеты светло, празднично, блузки, платочки – все ярко-белое, легкое, на лицах словно ранняя зорька занимается, голоса звонкие, высокие, чистые. Юноши, кто в черных тесных костюмчиках строгого форменного покроя, а кто в подрясниках, и голоса у юношей гуще, сдержанней. Это певчие Крестного хода и ученики Вятского Духовного училища. Готовятся на колокольню подниматься, в колокола звонить, радостью своей с миром делиться.

К молодежи быстрым шагом подходит мужчина в зеленой штормовке, брюки серые до щиколоток подвернуты, ноги босые, кроссовки коричневые в руке держит. Взгляд у мужчины цепкий, пристальный, нос с горбинкой, крючком чуть вниз загнут, борода коротко стриженная, седая.

Молодежь окружает его, смех стихает, говорят о чем-то, вдруг, словно искра упала в рыжую сухую хвою, вспыхивает веселье с новой силой. Мужчина, улыбаясь, отходит от них, цепко смотрит вверх в небо, на колокольню, трижды осеняет себя крестным знаменем. Крест кладет быстро, но точно, тщательно, выверенным движением. Потом стремительным взглядом окидывает пространство перед колокольней. Подходит к женщине.

– С Праздником Вас. Здравствуйте. А Вы откуда, как звать Вас?

Речь его стремительна так же, как и он сам.

Женщина выпрямилась, ладони одна к другой сложила, к груди прижала.

– Я сама Вас просить хотела. Простите. Пожалуйста. Вы на колокольню будете подниматься, сейчас? Я хотела...

– Вместе и поднимаемся, с певчими вместе, сейчас я договорюсь, – перебивает он ее.

– Нет, нет. Мне не подняться. Я первый раз Ходом прошла. Думала не дойду. Из Монастырского уезжать собиралась, хоть плачь. Хорошо подсказали крапивы свежей в носки набить. Так и дошла, не знаю как. На ступнях живого места нет. После Причастия легче стало. Но все равно каждый камушек чувствую. Не подняться мне. А Вы вот босиком ...

– Я здесь всегда босиком, земля же Святая здесь. Святая земля...

– Я просить Вас хотела. Пожалуйста. Вы в колокол хоть один раз за Аню, за крестницу, за племянницу мою, один раз прозвоните в память ее, в Царствие ее Небесное. Погибла Аня у нас. Зимой погибла. Двадцать три года ей было. Пропала сначала. Весной нашли. Сын у нее остался, четыре ему осенью будет. Иду я – молюсь. При жизни ее так-то надо было. Аня – запомните – Анна зовут... звали.

Последние слова она торопливо договорила. Монах уже стоял во вратах входа, звал наверх.

Между колокольной Илии Пророка и входом в Преображенский Храм на зеленой полянке лавочки деревянные устроены. Женщина села лицом к колокольне, голову чуть запрокинула, взглядом к звоннице обратилась. Замерла. Ожидая, слушая.

В небе счастливо частят колокола. И если чуть смежить ресницы, кажется, чувствуешь стремительное вращение земли, скорость, все нарастающую вокруг пронзительной колокольной оси, чувствуешь и себя частью этого завора-

живающего, как детская игрушка «юла», стремления. Мир летит и вращается вокруг колокольни. И кажется еще в ресничном дрожании, что из самого центра вращения кто-то высокий и веселый бьет щедрыми горстями золотой разнотонный нотный горох прямо в небесную прозрачную, словно из горного с голубоватым оттенком хрусталя, чашу. Нотные горошины бойко скачут по всей полусфере, вместе с ней вращаясь, разлетаясь в разные стороны, щелкают о хрусталь, друг о друга, о небо, о землю, о колокольню – и звучат, звучат, – то ссыпаясь в яркую грудку, то вновь разбегаясь игриво, каждая на свой лад, на своей высоте, но не порознь, все вместе – в гармонии музыкального строя.

Также проносятся мысли в голове, мелькают мгновенно, без связи друг с другом. Но – нет: об одном все, об одном...

...«Носочки», – так и сказали они тогда, втиснув в официальный милицейский язык это беззащитное детсадовское «носочки», – без одежды. В одних носочках. Возраст двадцать – двадцать два. Приметы совпадают. Приезжайте на опознание.

А у нас, Анечка, была весна. Середина апреля. Первая после Воскресения Христова, Пасхальная, Светлая неделя.

И мама твоя тебя не узнала. И лишь когда высыпали из пакетика перед ней сережки, – Узнаете? Узнала: «Это Анины». – И словно опомнилась. – А крестик? Крестик нательный где? – смотрела на следователя.

...вот было и все.

Нам объяснили, что меняется и рост, и вес. Тело лежало в снегу, набухло, изменилось. И мы согласились.

Последний раз Аня вернулась домой поздно, почти полночь была, около одиннадцати. И не вернулась –

забежала, оказывается, на минутку. Проверила сына – спит. В чемодан полезла за туфельками. Обновок у нее немного было, и надевала раз в год, и хранила подальше. Мать вскинулась: куда еще, опять куда-то, ночь ведь.

Аня рукой в сторону улицы Солнечной махнула – туда, мол. И так и сказала:

– Я, мам, последний раз, не ругайся... Последний, – и, легкая, радостная, упорхнула. В ночь, это было в ночь, на последний день февраля, на воскресенье.

А появлялась Аня на свет нежеланной. Не в радость родилась. Отец ушел от них, когда мать ее носила. Ушел, вроде – одному пожить надо. А мать потом в загсе узнала, сотрудница одна – сжалилась: открыла, что по документам они разведены давно и решение суда есть. Решение, конечно, потом отменили. Развели их, когда Ане год исполнился. Что чувствовала она в маме своей, когда вместе по судам да по загсам? А мать еще и в больницу хотела. Под нож. Ниточку жизни, в утробе принявшуюся, резать. И простыни было соберет. И сядет. И – нет. Потом – опять. Как это все пережить? Пережила. Родилась.

Старший брат еще успел при отце любви ухватить краешек. А Ане как?

Нася – ее щеночком еще взяли, из соски выкармливали, – она, конечно, в радость была. Любимица Анина, приземистая, лобастая, с длинными ушами, чуть косолапая, Нася, одним словом. И слово то от Ани, теплый комочек живой в руки ей положили: вот твоя собачка будет. А Аня головой мотает – «Нася». «Так твою собачку зовут? Нася?» – уточняют. Аня еще несогласней головой мотает, а твердит одно – Нася. Так и назвали, потом уже поняли: не моя, а наша, вот что человек маленький сказать пытался.

Жили не богато, где на зарплату учительскую развернуть-ся. Аня в первом классе уроки сидя в кресле делала, на табуретке перед собой тетрадочки разложив. Стола своего у нее не было. У брата – был. И ничего – справлялась. Не грустила. Училась жить. И выживать училась.

В девяносто третьем году в школе, где мать преподавала, вдруг просто перестали платить зарплату. Она заметалась по другим школам – брала дополнительные часы. Но денег нигде не давали. Ане тогда исполнилось двенадцать, брату – пятнадцать. Телевизор твердил: рынок, реформы. Вкус у этих слов был один – вкус перловки. Дешевле крупы в магазинах не было. И мать научилась готовить ее так, что она была не сухая, с водичкой. И они ели перловку без хлеба. И Нася – на перловке. Это и есть семья. Иногда что-то для собаки приносили соседи. И иногда это что-то было из ресторана, где одна из соседок работала поваром. «Вот, для Наси», – передавала она матери увесистый сверток, не глядя в лицо, опустив глаза. Так и Нася кормила семью.

Аня, Аня. Все случай тот не идет из головы. Даже не знаю, помнишь ли ты. Когда мы все вместе под Нижне-Ивкино отдыхали. Молоко в соседней деревне брали, яички – и все не дорого. Вечерами ходили гулять к роднику. И однажды возвращались через деревню. Курица хлопотливая из-под ворот вывернулась на улицу, а Нася, внезапно для всех, бросилась на нее и в миг придушила. Мама твоя первая опомнилась: увидит кто! Кинулась отбирать. Нася лапами добычу прижала и, не разжимая пасти, рычит грозно. «Анечка! Да делай же что-нибудь, ослепла, ай», – окрикнула мать требовательно. А ведь рядом старший, мальчик, да и я. Нет – «Анечка!» Почему-то. Почему? А ты, только платьишко и мелькнуло. Движением одним у Наси кури-

цу взяла, взяла именно, не вырвала, и опрометью в кусты придорожные. Там и положила, травой прикрыла.

Кольнуло меня тогда. Страшно за тебя стало, на миг, правда. Потом забылось. А сейчас все вспоминаю и вспоминаю.

Наси чуть раньше не стало. Закопали ее в парке. Аня и не плакала даже. Молчала только все. Да она и всегда молчала больше.

Сколько выпало в твоей жизни любви и тепла? Что видела ты, что успела увидеть, какие великие радости довелось испытать тебе на коротком таком веку? При жизни твоей не задумалась. А сейчас гадай-угадывай – не ответишь.

Любовь? Пойди, пойми ее. Был у Ани в школе еще мальчик. Любил он ее. Ей бы его из армии дождаться. Не дождалась. Другой у Ани появился, а другому тридцать лет почти.

Полюбила. Всем своим шестнадцатилетним, детским еще, сердцем полюбила. Он был беспутый, но – добрый. Добрый. Вот в этом и все. Ласки мужской, отцовой не выпало ей, а душа ждала, просила. Мальчик, он – ровесник. А здесь – мужчина. И тихий, и добрый. Обмануться хотела душа, и обманулась. Отцову любовь искала. Это детство еще дополняло себя, дотягивалось до настоящего детства. А дотянулось до того, что и сама дитя, и в себе еще дитя понесла, сыночка своего будущего.

А немуж-неотец записываться с ней отказался и сына своего на себя записывать не стал. Потом и вовсе Аню с сыном обратно к матери выпроводил.

Переехав к матери, Аня уходить стала вечерами. Ненадолго – дискотеки, подруги. «Мотается где-то», – так мать говорила. О сыне, правда, не забывала. И работу не про-

гуливала никогда. На работе – она в детском саду нянечкой работала – нахвалиться на нее не могли. Не спорила никогда, не пререкалась, все молча делала, быстро, споро, безотказно.

И учиться поступила в педучилище в Слободской. Пробовала до этого и в магазине торговать, но ушла в детский сад нянечкой. С сыном рядом. Не легкого искала. Понимала, что не выйдет по легкому. И вставала на дорогу. Своим умом, своими силами. Но силы на другое потребовались.

Вот он! Точно. Он – Колокол! Анин! В бойкой веселой разноголосице боя обозначилось высоко горловое открытое низкое «а», пошло по высоте и – словно язык колокола к медному небу прижался – протяжное «а» перетекло в долгое гудящее «н» на том же горловом бесконечном выдохе, и держалось на нем, держалось, пропитывая пространство, и вновь возвратилось к открытому долгому гласному, неуловимо колеблющемуся меж «а»-«я».

Как это было возможно? Но звучало в небе, сквозь светлый, солнечный, пасхальный перезвон, звучало отчетливо и неповторимо высокое гласное имя с долгим звонким «н» посредине.

Когда нашли тело Анино, сказали, что не стало ее в конце февраля. То есть вскоре, как ушла она из дома. Может и в ту же ночь. Ушла, получается, чтобы телом лечь на предрассветный первый мартовский снег, между гаражей, на Солнечной улице. Этот снег и стал последние твои во взрослой жизни белые одежды.

И первые одежды, школьные, фартучек с кружевами и бантики первоклассные, тоже белые были. Белые до сияния и теплые еще. Тщательно проглаженные мамой и

накануне, и утром еще – от складочек случайных. Утюг всфыркивал белыми облачками пара – притворное недовольство проявлял – крутыми боками блестел, работу свою уютную усердно выполнял, так, словно всю грядущую жизнь твою хотел согреть и разгладить.

Последние одежды твои были холодные. И снег под тобой немножко подтаял. Тебя положили еще теплую. Положили. Не бросили – положили. Одна ручка вдоль тела, другая согнута в локте, на груди, словно прикрылась ты от грядущей твоей наготы. Или просила о чем-то. Не их, конечно. Того, Который все понимал про тебя, все знал. И Он укрывал тебя тихим снежком, убаюкивал, оберегая. И тихая радость шла, наконец, на смену боли. И тихо подтаивал земной снежок под тобой. И тихо пеленал тебя снежок небесный. И ангел незримый был уже рядом. И звезды яркие сгрудились с неба, склонились к тебе. И одна среди них потихоньку и незаметно отошла от подруг и слетела к тебе, коснулась челки твоей, как снежинкой поцеловала, стала капелькой, слезкой и замерла. И мироздание, казалось, также замерло и молчало. А было полно голосов и вопля, и смеха, и плача, и стона. Но души слышит лишь Господь. И Он слышал тебя, и во всем этом многоголосии маму твою, беззвучно зовущую о тебе. А мама была в получасе ходьбы от тебя – велик ли город, знать бы. И этот беззвучный мамин голос и был последняя твоя колыбельная здесь на земле.

И тихо таял, и тихо ложился снежок, прощаясь и прощая тебе все радости твои земные и боли...

Хоронить Аню решили в свадебном платье с фатой. Спросили у священника. И батюшка долго думал над вопросом: можно ли? И сказал: можно, так и хороните. Поку-

пая свадебное платье, мы плакали. И молоденькая продавщица, ровесница, может, Ани, сказала: «Сейчас многие так вот покупают, многие...» Похоронили тебя, Анечка, рядом с бабушкой и дедушкой. Теперь ты с ними. «Земля еси и в землю и отыдеша». А ведь – и в небо. В церкви тебя, Анечка, отпели, в Троицком соборе. Все как положено, все хорошо. Вот так и примерила ты платье свадебное, упокоилась сном подвенечным. Так бабушка твоя говорила, когда нас с твоей мамой добудиться не могла: «Ох, девичий сон – сон подвенечный – колоколами не разбудишь». А тебя и будить зачем? Ты Господу проснулась. И мы за тобой просыпаемся. Мама твоя теперь в церковь чаще стала ходить. В ту, что недалеко от вашего дома, помнишь? Церковь на высоком холме – сама белая, купола – золотые. Один купол высокий, три пониже – в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии за Христа убиенных. А я вот в Великоорецкое пришла крестным ходом. Благодаря тебе пришла. И дошла благодаря тебе. Когда совсем не могу мне стало – не только мозоли, еще и стрелять начало в большой палец на ноге, так, что терпенья нет, хоть вой – я и выла тихонько и твердила себе: «Не умела молиться, так иди хотя бы. Идти не можешь – ползи. Это долг твой перед Аней». Мало я за тебя в жизни молилась. И не наверстать сейчас. Но хоть так, верстами Крестного хода, наверстывать. Прости ты меня, Аня. Прости, если можно.

Этих извергов нашли потом. Судили. Только разве настоящий суд такой? Не суд это – насмешка. Над жизнью и смертью насмешка. И то, что на суде открылось, не очень на правду похоже. Да и что с нее теперь, с правды этой? Одно знаем мы точно. И мне легче, Анечка, от этого. Не знаю почему, но – легче. Не взяли они тебя.

Телефон сотовый взяли, одежду. Крестик твой нательный, с неживой уже. А тебя живую взять не смогли. Даже и тело твое, не смогли. По головушке твоей били... «следы от четырех ударов... гематома на левой скуле»... горло твое передавили... только это и сумели – а взять не смогли. И получается, за всех за нас одна ты против них встала. Не испугалась, не струсила. Пощады не запросила. Приняла бой свой последний. Со смертью, за жизнь. И победила. Не взяли они тебя, взять не смогли. Ты – Победила. Одна за нас за всех победила. За жизнь. Такая вот цена.

Читала я, а может и слышала – люди сказали. Тот, кто жизнь человека забирает, он вместе с жизнью его и грехи на себя принимает. Если бы так, это верно было бы. Один Господь знает, когда человека в мир явить, когда из мира взять. Неразумны мы, но Любовь долго терпит. Господь нам до самого последнего нашего мига возможность покаяния дает. Разбойник, с Господом рядом распятый, со Креста уже спасен был. Убийца берет у человека больше, чем жизнь. Он возможность Покаяния, Господом нам дарованную, забирает. И не может не быть за это великого ответа на Настоящем Единственном и Последнем Его – потому и Страшном – Суде.

Аня приснилась маме на сороковой день, сказала тихо: «Мама, ты ко мне не ходи. Я сама к тебе приду. Мне здесь хорошо. Здесь много мужчин и женщин и все прошли через боль и кровь. Но здесь всем хорошо».

...Женщина видела, как стоял вновь возле колокольни тот, кого просила она в колокол ударить. Он говорил с кем-то, но на собеседника не смотрел, быстрым взором окидывая пространство меж храмом и колокольней. Поняла – ее

ищет. Но не подошла. Она знала: он ударил в колокол. Ударил в колокол и имя Аня назвал, а может – Анна. И не один раз ударил, а три – она слышала отчетливо. Так и надо было – три раза – только она постеснялась просить об этом.

Ночь в Великорецком, Ночь...

Вообще-то не ночь, а сутки.

...час девятый, пятнадцать по часам покупным магазинным, суббота, начало августа, вышел я на Великорецкий берег.

Глянул на часы – три пополудни. Перекрестился – сначала лицом к высоченной стене леса, за которой – сердце знает: Храмы Великорецкие – поклонился.

Потом реке Великой поклонился, силу солнца преодолевая, словно упиралось ослепительное в мой лоб жаркой сухой огромной ладонью, спустился к воде – лицо умыл – начал жизнь свою на берегу: крапиву вытоптал кругом, сиденье себе оборудовал на бревнышке, прикинул – здесь и костер будет, никак только понять не мог, где место для ночлега – бурелом везде, серой соломой притрушенный, как после паводка, не должна бы вода здесь идти – берег высок, а впечатление – такое.

А воскресеньем, под пристальным солнечным взглядом собрал пожитки свои, умылся, опять на бревнышке посидел и – пора. Часы из нагрудного кармана рубашки достал, глянул – пятнадцать часов, минуту в минуту. Честно – не подгадывал я, не ускорялся и не замедлялся, да и вообще на часы не смотрел, само так получилось – ровно сутки, минута в минуту.

Сутки? Нет, все-таки – Ночь...
Но давайте по порядку.

В тот день, в самом начале августа, в субботу, часов в одиннадцать, внезапная сила подняла меня – еду в Велико-рецкое!

Время на раздумья не тратил. Собрался как в Крестный ход. Положил в рюкзак спальник, полиэтилена отрез – под спальник подстилать, да и накрыться хватит в случае дождя – это вместе со спальником постель такая походная. Взял кружку, ложку, чайничек эмалированный – воду на костре кипятить. Хлеб и консервы решил на месте купить: магазин в селе должен работать. И оделся привычно, по Крестному ходу: джинсы, рубашка вельветовая серая, кроссовки разношенные.

Взял рюкзак и пошел. До автовокзала пешком – четверть часа, а автобус отправляется ровно в двенадцать. Времени – с запасом. Иду не спеша. Смотрю на себя со стороны – удивляюсь. Я на подъем тяжел. Лишний раз из дома не выйду. А здесь не то что в магазин сходить, за сотню почти километров решил махнуть. Решил? Когда мне решать было? Встал и пошел, как ни в чем не бывало. Удивительно.

Еду. Город и мост через Вятку за спиной остались. Автобус «пазик», полупустой, легко бежит по трассе. Верхние окна открыты – ветерок шторками играет.

Повернули на Юрью. За окном – поля с перелесками. Лес смешанный, невысокий. Березняк островками, осинник с елью. Взгорки, низинки. И небо – неба у нас в Вятке много – кажется, до сизого хруста промытое – а ведь август уже. И свет золотой осыпается по небосклону, чуть позва-

нивая. Даже вроде за воротник попадает, спину покалывает. Или это в салоне не закреплено что-то и так дзинькает хрустально, и солнце, с этой теперь стороны, шею и плечо греет.

Вспомнилось вдруг, как ехал я этой же дорогой в июле с маленькой Олей на коленях, только тогда «газель» нас несла. Оле три с половиной года. «Я тоже уже большая», – говорит она о себе утвердительно. Две косички у Оли темно-русые, носик – кнопочка курносая, глазки карие, живые, быстрые. Смотрела Оля в окошко, напевала тоненько-тоненько, «ля» протяжно вела, словно на струнку серебряную высокие нотки собирала: «По по-ля-а-м, по выпучим ле-са-а-м». «Оленька, – говорю, – это пески выпучие бывают, леса – другие». Поет по-своему. Улыбается. Носик морщит. Меня не слушает, своему в себе внемлет.

Улыбнулся я своему воспоминанию.

Первая радость наконец угнездилась, принялась в душе, и открылось мысленному взору село Великорецкое, жизни моей село.

Местность вятская увалами идет. И сам город наш, Вятка, на холмах стоит. Считается, что наступление всемирного ледника как раз на этом рубеже остановилось. Ледник растаял, а та земля, которую он перед собой толкал, осталась застывшими огромными волнами – увалами.

На одном из вятских увалов высоко и вольно стоит село Великорецкое. Красиво стоит – весь мир окрест, как на ладони. На такой высоте и должна душа жить, таким простором жизнь мерить.

В самом селе Великорецком, как в крестьянской избе, все по ладу, все под рукой. Пойдешь к реке Великой, на

закатное солнце, храмы за спиной оставляя, видишь – на краю поля сосны могучие, и от них спуск к Берегу крутой, соснами поросший. Прямо под горой – Купель и Источник – два домика бревенчатых, часовенки малые, деревянными куполами со крестами увенчанные. Рядом, левее, чуть ниже по течению реки, вытянута вдоль берега, выкроена из островерхого густого хвойного леса полянка просторная. На полянке, ближе к соснам и елям, Алтарь стоит. Высокий бревенчатый, крыша в два конька крест на крест, купол медью обшит, Врата дощатые, вблизи огромные, и отворяются они раз в год, в День Праздника.

Здесь, на берегу реки Великой, на сосновой горе, и явлен был в год Куликовской битвы образ Святителя Николая. Смотришь на икону и не ведаешь, что предстоишь перед самым грозным Архиепископом неведомо далеких Мир Ликийских. Пред тем, кто рассек узел ереси арианской одним ударом длани. Разве? Это же наш вятский батюшка из сельской глубинки, ты его в Крестном ходу не раз видел и под благословение подходил. А однажды даже исповедался ему на Берегу. И страшно тебе было, и говорить трудно, а поднял глаза, и защемило под ложечкой, дух захватило как при взлете, так нас прощение поднимает. И это он же, батюшка наш, когда самый край жизни твоей был, пришел в дом твой легко. Ты и не заметил, перед иконами стоя, не обернулся. Он прошел за твоей спиной, к детям твоим спящим, и доченьке твоей под подушку денежки в узельце положил, а сына твоего перекрестил, ладонь свою горячую на лоб ему положил, всю боль его себе принимая. И ты потом только сообразил – кто спас тебя. Увидел его, благодарить кинулся. Он сначала улыбнулся тебе. А слова твои услышал, выпрямился сухо, нахмурился. Губы плотно сжа-

ты, седина – паче снега холод, взгляд поверх тебя, сказал отрывисто, четко, требовательно: «Господа – Благодарим!».

Такая у нас Икона – наш Николай Чудотворец. Никола Великорецкий – так вятский народ говорит.

Образ явился чудесно, и сам народу чудеса явил. Принимая образ в столицу Вятской земли, обещали вятчане приносить Икону обратно каждый год, к Дню чудесного обретения святыни. По-современному считая, к шестому июня. Шестсот лет и приносят. Есть и мое десятилетие в этом общем с вятским народом труде. Третьего июня из Вятки выходим, три дня в пути, два ночлега в селах Бобино и Монастырское. Пятого июня входим в село Великорецкое к исходу дня, часов около пяти вечера. Шестого июня в Великорецком – сам праздник обретения Чудотворного Образа. Исповедь прямо на Берегу, две Божественных Литургии. Ранняя с восходом солнца совпадает. Солнце в небо идет, играет перламутровым переливом. И Пламя Евхаристии вместе с солнцем – все огненной, все выше. И – Причастие. А поздняя Литургия – архиерейское Богослужение. И если на ранней службе солнце лишь взглядом можно взять, то на поздней – сердце солнцу сродни, вместе с ним по небесной круче восходит. Потом Водосвятие здесь же, на Берегу, у Источника и Купели. А наверху, в селе – колокола Великорецкие льют по всей мироколице звонкую пасхальную радость. И сыплются с неба в ответ то ли искры серебряные, то ли брызги лучистые: «Никола кропит», – говорят в народе. Бывает – на небе ни облачка, а твоя капелька все равно найдет тебя, щелкнет любовно по носу ли, по лбу, щеки ли коснется – «живем, брат!».

Так и в этом году пришел я в Великорецкое вместе с Крестным ходом. И после Праздника, часов около четырех

вечера, вышел на берег. Всегда в это время стараюсь к реке приходиться – прощаюсь с Великой ровно на год.

Окунулся я, вода ледяная. Хорошо. Сажу на берегу у самого выхода с поляны, вниз по течению, там, где лес начинается. Великая прямо передо мной хоть и не широка, но ни речкой, ни тем более речушкой не назовешь. Река. Сноровистая река, уверенная, с характером. Здесь она перед плавным поворотом смиряется немного и в берег чуть вдается, заводь образуя. Заводь прямо классическая: веточки ивы над ней нависают, осока острая кромку воды сторожит.

И вдруг увидел как наяву: удилище в берег воткнуто и поплавок на воде покоится – так же, как я сейчас на берегу, пока не шевельнули меня мысли, пока мир не потащил страстями в глубину и нежизнь. В миг душу захолонуло. Лет десять не был я на рыбалке. Не сидел с удочкой на берегу, так, чтобы никто, кроме рыб, не тревожил. И думаю с удивлением – а что мешает: приехал и рыбаць на здоровье? «Приеду, – сказал я себе, – обязательно приеду».

Вернулся я в Вятку Крестным ходом восьмого июня, как и должно. Вновь замелькали выходные: суббота-воскресенье. День за днем, один-другой. И все дела у меня, все что-то надо. Правда, расписание узнал: ходят автобусы в Великоорецкое.

А время летит. Жаркое лето уходит стремительно, как река из-под ног. Петров пост к концу идет. В воскресенье, на память Петра и Февроньи, стою на Литургии. Евангелие читают. Я голову склонил и каждое слово не мысленно, а всем своим существом повторять пытаюсь:

«Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять

крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустит бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний».

И я – рядом со спасением лежу и не успеваю? Понятно – живу, дышу, работаю, детей своих поддерживаю. Но на деле именно лежу: сердце мое расслабленно. Жизнь есть во мне, а движения нет. И даже желания движения нет. Одно у меня движение – раз в год Крестный ход. Пройду и словно опять лежу.

Дома Евангелие перечитал. Точно обо мне. Притча о расслабленном и в других Евангелиях повторена на свой лад. Есть и так, что четверо друзей крышу разобрали и друга своего к Господу отпустили. Господи, меня-то кто отпустит?

И месяца не прошло – еду я в Великорецкое...

Приехал, оказывается, уже. Автобус стоит, люди выходят, ограда монастырская перед глазами – Великорецкое. Не заметил, как доехал.

Я ли это? В Великорецком? Червей копаю у рядов торговых? Три Храма в Великорецком – в линию вдоль дороги к Берегу, а по бокам широко стены дореволюционных торговых рядов идут, правые, если к Берегу лицом стоять, в один этаж – проемы оконные огромные, левые – двухэтажные с обычными окнами, сейчас досками заколоченными. Вот у двухэтажных рядов и роюсь я черепком шифера. Червь мелкий, шустрый, и мало его – жара. Бревно откажишь. Успел схватить – твои. Набрал с горсть, наверное. Ладно – хватит. На берег не терпится.

Перед тем как о наживке думать, я в Храм зашел, в средний, в Преображенский, он только и открыт. Службы нет, день еще. Покой, прохлада. С обустройством монастыря – храм стал строже. Икон не много. От этого ощущение – значительной сдержанности такой. Мудрого молчания что ли. Распятие, конечно, сердце сразу цепляет шипами венца тернового. Распятие из дерева вырезано и все как есть слишком реально все. Как – это слишком – при нашем жестокосердии и так-то мало нам видеть. Даже и так – не чувствуем. Испросил благословение у святителя Николая на пребывание на Святой земле его. Прости, отче Николае, что вот так, на отдых приехал, не на труды. Но видишь ведь, каково мне... Благослови, прости и помилуй.

...иду на Берег. Сердце то стучит, то молчит – замирает. Я ли? Здесь ли? Иду проселком по соснячку-подростку. Травы. Небо. Август – а звон июльский в природе, воздух чуть плывет от жары. Вот уже и вековой сосняк, и спуск под гору, к Источнику, по корням сосновым, узловатым, выбеленным, поперек спуска расхлестнутым, как ступени.

Увидел берег меж сосновых стволов, так и ахнул. Приехал беглец-отшельник, притек на спасение к Николаю Чу-

дотворцу. По берегу – рой людской. Мелкое, да крупное, пышное, да тощее – изобилие телесное.

Замер я на спуске. Помогай, отче Николае, спастись надо. Не сюда я ехал. Я к тебе ехал. Спасай-выручай. Спустился я с горы, в полуголюю толпу смело вошел. Я – как дикарь среди них – борода, рюкзак, еще и одетый, но не заметили, пропустили, прошел меж ними. Стою на самом берегу: здравствуй, Великая...

Вниз по течению, к тому месту, где поплавок на воде представлял, – бесполезно идти, по всей поляне тоже люди. Глянул вправо – вверх по течению: стена леса вплотную к берегу, берег обрывистый, полосы перед водой почти и нет. Лес, обрыв красноглиняный и вода. Угадал я тропку в траве и по ней. К лесу и в лес. По лесу тропка, чуть заметная, вдоль самого обрыва. И обрыв так себе, метра полтора. Но в некоторых местах, чтобы пройти, надо, дерево обхватив, над водой нависать, перебираясь. И понятно, почему людей нет. Быть тут негде. По всему странству возле тропки – бурелом буреломный, соломой серой сверху покрытый, как после паводка. А чуть в лес от тропинки – вообще топь – родники сплошь сочатся. Но мне местечко нашлось. И спуск есть к воде. И площадочка – спальник кинуть да костерок разжечь. Много ли человеку земли надо? Три аршина. Столько и есть – мое местечко на земле этой.

Как жил на берегу, чего рассказывать. Солнце к закату клонилось, и жизнь моя вся на глазах у солнца текла. Обустроился. Искупался. За удилищем сквозь чащу еловую пробрался. Осинку метра два высотой срезал – и готово удилище. Иголок только за воротник насыпал, вот тебе и несыпучие леса наши. Слышу – звон колокольный, гулкий

и вольный густо поплыл по небу над лесом, над рекой. Солнце, как на волнах, от звона закачалось, сердце толкнулось в ребра и обратно в тело ударило, потянуло возвратной мощью наверх, к колоколам. Пошел на службу...

После службы – монастырский устав мерный, неспешный, сродни колокольной тяге – день торопливо уходит. Вроде, неловко ему: служба кончилась, а он еще мешкает, шебуршит чего-то. Поэтому смеркается быстро. И до берега добежал я, и костерок затеплил почти потемну. Затрепетал огонек – живем, радуемся. Водой со святого источника – по пути со службы подчерпнул – чайничек наполнил, на огонь пристроил. Лист смородины – руку протянул, в темноте на ощупь сорвал, по запаху не спутаешь, и слова другого не подберешь: чем пахнет – смородиной – в чайничек покидал. И не заметил за светлыми житейскими мгновениями, как Ночь воцарилась на Берегу: густая, беззвездная. Слышно – река трудится, течет, работает неустанно. Хищник мелкий ударит, всплеснет, и вновь только течения говор невнятный, внутренний, благолепный. И сам я, человек, в этом темном лепете мироздания лишь толика малая, общим движением влекомая. Душа в нас, она, может, так же, как река, течет и не протекает, истончается порой до ниточки – все, кажется, а потом, глядь, наполнилась, разлилась, пошла, понесла, забормотала. Откуда, Господи? От Тебя.

Кроме как на саму тропинку ложиться, мне некуда было. Вдоль тропинки и раскинул широко отрез хрусткий, всю ночную округу хлопотливым шуршанием наполнив. Сверху спальник развернул – опять хруст, рюкзак – под голову. Улегся наконец. Глаза закрыл. Вдруг как бухнет что-то у самого изголовья. Сердчишко – мигом в комок. Это я, вска-

кивая и одновременно щелкая зажигалкой, отметил. Вижу: сидит на краю моей походной постели – Жаба. Не лягушка, и именно что – с буквы большой. Таких я в жизни не встречал – в две ладони не взять. Основательная такая – хозяйюшка. Серьезный экземпляр. Сидит грузно, смотрит внимательно. Прости, – говорю, – я на ночь только. Стряхнул ее аккуратно с подстилки. Лег осторожно. Теперь каждый шорох слышу. Ладно – жаба, а змеи? Последнее, что подумал. И как от берега оттолкнулся – поплыл во сне со всем великорецким мирозданием вместе.

Проснулся ровно в три часа. Ночь непроглядная. Но знаю, к четырем светать начнет. Огонек, затаившийся в угольках, раздул. Вновь полыхнуло пламя жизни. Воду вскипятил. Контурсы мира все четче проступают. Река обозначилась, и противоположный берег. Пока удочку забросил, совсем рассвело, и поплавок хорошо виден. Гладь воды – зеркальная. Сразу и клев пошел. Рыбешка разномастная речная. Берет бойко. Окуньки живоглоты меньше ладони, а хватают крючок как большие, не достанешь из пасти; ерши жабры и спинной плавник топырят, на собственной слизи ускользнуть норовят; беленькая рыбка – та приличная: сорожка, елец – берет хитро, осторожно, исподволь; пескари шустряют без разбора – давай закидывай скорее. В общем, не опишешь – рыбацкое счастье. Поклевочка, подсечка, прогиб удилица... Я ли? Здесь ли?

И было еще одно событие. Вышел я наверх, в Село. Три пополудни. Автобус часов в шесть быть должен. Подожду, думаю, в Храме. Рюкзак при входе оставил. Помолился, потом на лавочке устроился у стены. В Храме прохлада, покой. Благодать. Вдруг входят в Храм – батюшка среднего роста, крепкий такой и ступает уверенно, а с ним еще

два спутника, миряне – не то что нарядно, а богато одетые, изысканно, можно сказать. И у самого батюшки Крест на груди золотом льет, как света источник, и облачение черное – так и сияет, и отглажено идеально. Пробыли они какое-то время в Храме, повернули к выходу. Я с лавочки встал – священник же проходит. И два чувства во мне, первое – надо под благословение подойти; второе – вид у меня, сменной одежды я не брал, ночь на берегу у костра, почти без сна, то есть ясно, что и лицо рыбацким лохмотьям соответствует, и ладно бы один батюшка, спутники у него еще, они-то как отнесутся – введу людей в искушение. А батюшка к выходу идет, то есть и ко мне. Я, с учетом своего вида, у самого выхода и был. Думаю – чего стесняюсь: Господь меня таким же видит, не значит это – что стесняться не надо, но уж – что есть, то и есть. И шагнул я к батюшке. Ладони перед собой, правая сверху. И, склоняя голову, успел заметить борьбу на его лице – между «земным и небесным» – как я себе объяснил: смущение от моего вида он испытал, но он же священник – и кто перед ним «в рабском виде» – отказывать он не в праве. Стою – голова склонена, ладони свои да пол только и вижу. Слышу голос чеканный, строгий: «Как под благословение подходишь? Земной поклон надо делать». Думаю – ничего себе, это вроде перед Владыками только – «земной». Кланяюсь, не как сказали, но еще ниже – тыльной стороной ладони пола касаюсь. Остаюсь согнутым, сложенные ладони вперед тяну. Благословляет... И – целует после благословения меня, согбенного еще, в макушку прямо... Слышу ворчливое, но теплое: «Бегаете по монастырям». Так и не распрямился я пока они не вышли. Стоял, думал – я, вроде, все здесь сидел и не бегал нигде. Потом дошло до меня – «по

монастырям». То есть принял он меня за того, кто из одного в другой монастырь... Дома посмотрел – точно: благословение просят с земным поклоном, независимо от сана. И сам земной поклон это не земли рукой коснуться, а на колени стать да к земле лбом прижаться, вот и – земной поэтому. Урок так Урок! А я ведь всю свою православную жизнь так и подходил, а понижее склонюсь, так и думал – земной поклон. И сменную одежду стал я впредь с собой брать: внутреннее прибрать не можем, так хоть внешнее по мере сил. И потом уже не мог я это событие забыть, мысль еще. «В рабском виде...» – это понятно. А вдруг и в облачении тоже... Но священника того я ни до события, ни после в Великорецком не видел. И в макушку меня никто в жизни никогда после благословения не целовал, а подхожу я часто под благословение...

Вернулся я домой в Вятку. Крестника своего Андрея в гости пригласил – улов показать. Он с сестренкой Олей пришел. Это с ней мы навещали Андрея в православном лагере «Живая Вода», когда Оля про сыпучие леса пела.

Выложил перед ними рыбку речную. Рассказал им, как жил на берегу Великорецком, как на службу ходил, как закат проводил и рассвет встретил. Про Жабу, конечно, рассказал. И еще Олю на колени к себе посадил и признался ей: «Леса и вправду там сыпучие оказались. Правда ты была». Улыбнулась Оля, кивнула мне одобрительно. Прижалась доверчиво, так крепко, что я всю беззащитную хрупкость ее ребрышек сердцем почувствовал, головку запрокинув, просит: «Про Ночь еще расскажи». Спрашиваю: «Про какую ночь, Оля?». «Про Ночь, про самую Ночь», – повторяет. «Так ведь спал я, Олечка, ночью. И не видел

ничего, и не знаю. Как же расскажу, если спал?». Вздохнула она... Хотел написать – «по-взрослому», да нет – по-детски именно она вздохнула. Вздох детский, он глубже, у взрослого потому что какая бы ни была сложность, она измерима земной мерой... а детский вздох – это вздох Любви по несовершенству мира и человека. Ясно же – будьте совершенны, как Отец, а мы так разве? А дети видят, понимают, но – что могут? Только и вздохнуть с Любовию горькою о нас. Так и вздохнула Оля. Проворно, будто о важном своем, неотложном деле вспомнив, шмыгнула с колен моих и под письменный стол забралась. И слышу: мотивчик выводит. Прислушался – про леса свои сыпучие опять поет.

С той поры, как вспомню свою поездку, скажу себе: «Ночь в Великорецком», – только два слова – и так светло на душе, так хорошо, словно живет в моей душе, независимо от меня, счастливая добрая тайна, этим словам тайна отзывается, и все существо мое любовью наполняет. Почему так?

И вот все думаю – почему: Ночь. Ночи-то не видел я. Спал и спал. А внутри что-то твердит, подсказывает – Ночь. Не день. Не вечер. Не утро. Не рыбалка даже, вроде ради нее и ехал. Нет – Ночь и все. Почему?

...А я ведь и в следующие выходные в Великорецкое вырвался.

Про свою первую поездку сам себе поверить не мог – что это со мной было. А уже второй раз еду. Теперь я в пятницу вечером выехал. С работы на час раньше отпросился – мы до четырех по пятницам работаем. Мне бы по времени еще на работе сидеть, добирая до краев душевное отупение недели рабочей, а я уже в Великорецкое лечу. И

какое уж тут отупение – радость одна – словно и не было вовсе недели этой.

В автобусе вновь ветерок по салону. А за окнами – небо, солнце, леса сыпучие, отныне – точно знаю. Трое из пассажиров мое внимание привлекли – дядечка, лет шестидесяти, а дедушкой не назовешь, чернобородый, курчавый, со строгой вольницей в темных глазах. С ним две женщины. Тоже ни бабушками, ни старушками не назвать их. Хотя видно – возраст почтенный. Но какая-то остожность в них, основность, что ли, как в древе до костяной белизны ветрами, дождями и временем выбеленном. И точно, они в дороге достали книжечки – видно по шрифту: вязь церковнославянская – молитвословы. Читать стали. Задние сидения в «пазике» друг другу навстречу развернуты, вдоль салона. Мы напротив друг друга сидели. Поэтому – хорошо видел. Думаю, в монастырь едут. Но все-равно, что-то необычное в них. Отметил. Не раздумывался – свой молитвослов достал, тоже читать начал. Акафист святителю Николаю сначала – «Взбранный чудотворче...». Мой молитвослов тоже на церковно-славянском, поэтому и открыл я его, как равный среди равных, ох, гордыня, моя гордыня, все существо мое, пальцем даже шевельну, а и то – по гордыне... Акафистом я радость свою... так, акафистом да молитвой по назначению возвращаю. Откуда пришла, туда и возвращаю.

С радостью тоже бережнее надо. Ей, радости, выход нужен. Без выхода она человека почище беды опрокинуть может. Захватила радость, понесла, а ноги-то по земле ходят. О камень ногою споткнулся – лоб расшиб. Я свою радость в себе не держу. Я ее всю благодарностью Господу отправляю. Откуда радость моя – от Него только. Богу

отдайте Богово – а как отдать? Молитвой. Вложи радость свою в молитву. В молитве ей, радости, самое место, там она – дома. Мы молиться когда начинаем? Когда прижмет. А надо и когда разожмет, пуще прежнего молиться, Бога Благодарить. В молитве равновесие мира. Центр тяжести мира – молитва. И точка опоры, кстати, тоже – молитва. С этой точки как раз мир можно перевернуть. Но зачем его переворачивать? Переворачивателей и так много. Но и удерживателей достаточно. В молитве и твое собственное равновесие. Придавило тебя Крестом – молись. Нет такого промысла, чтобы человека в землю, в смерть вдавило. Крест – это Жизнь. Молись – возвращай равновесие. Но и радость – воскресила тебя, тоже молись. Не теряй землю. Крест не теряй.

И Великорецкое – то с Акафистами – мигом. Словно не на автобусе, а на той самой радости и долетел.

Червей в этот раз по нормальному надо было копать, по-серьезному. Не заходя в ограду монастыря, пошел вниз в село. Бабушку на огороде увидел, попросился. И – разрешила. «Мы обычно не пускаем никого, – говорит, – но копай». На огороде копать – другое дело, червь так червь – настоящий.

Вновь поднялся вверх, к Ограде монастыря. Перекрестился, в Ограду вошел. И в храм, в Преображенский. Как мимо храма пройти – не серьезно. Служат, но служба сдержанная, без елеепомазания. В семь вечера уже на берег топал. В этот раз сразу левее взял, чтоб через поляну и вниз по течению. Приткнулся, думаю, где-нибудь. Уверенности уже побольше было. Минут двадцать лесной тропинкой понад берегом прошел. Вот и место – отличное. И кострище с бревнышками сосновыми, как для меня кто приготовил.

Берег высокий, гораздо выше, чем вверх по течению. Лес – лесной такой, настоящий, с характером своим, с молчанием собственным, особенным, затаенным. Сосны, ели, даже пихты царственные, огромные, мелочь лиственная между ними – как детишки на прогулке у ног воспитателей, только что детей меньше, чем воспитателей. А уж под каким деревом я рюкзак свой скинул да жить наладился, – так то вообще если не директор этого детского сада, то старшей группой заведует – точно.

И все так же – костер, смородина. Ночь только звездами одарила. Усеяли все небо – крупной яркой россыпью, гроздьями прямо. Вверх, конечно, не видно ничего – кроны. Но я же метра два от обрыва, на самом берегу был. И вот по-над рекой, по-над другим берегом, над всем миром тем, – небо как есть все, взору открыто было и светило все звездами. Август – время звездопада. И ведь падали звезды, срывались с неба. Смотришь в эту вышину голубого глубокого огня, огнями усеянную. И, вдруг, раз – не дрогнул даже, а как-то сразу пошел, почертил по дуге белым следом за собой один свет искренний и пропал тут же, исчез. Как мгновенно все, а ведь целый мир уходит. Куда?

Смотрю в небо. А место, где я был – берег мой, левый, высокий, правый, напротив – песчаный с отмелью, с пляжиком таким, по золотому песку серебряными лопушками заросшему. Великая здесь в плавном протяжном повороте идет. Справа – пляж обустроила, а к моему берегу, напротив, весь топляк, весь бурелом снесла. И за счет поворота мне с моего места вверх по реке далеко видно, но чего там видеть – темень же. И вижу – свет по реке идет к моему берегу ближе. Огонек цвета прямо как звездного, плазменный, не скажешь, что яркий, но чувствуется – пронзитель-

ный. И так движется неспешно по воде у самого берега и ко мне ближе, ближе. Думаю, то ли мужики с острогой, то ли еще по каким рыбацким делам. Костер мой с воды тоже ведь хорошо видно. И ближе ко мне – пошел огонь от берега, на средину реки. Напротив моего костра задержался. «Мужики», – это от огонька ко мне обращаются, не видно ведь, сколько людей на берегу. Да и я едва разглядел – один, вроде, человек в лодке. «Добрый вечер», – ответил я, голос не напрягая. Тишина же. Просто так говорить можно. «Добрый, добрый, – с лодки продолжают, – как бы это спросить-то у вас помягче... В общем, тут, это, как бы это... труп тут не проплывал?».

Да, думаю, «помягче» спросил.

Уж увидел бы я, молчать не стал бы, – отвечаю. «Да тут, это мужики отдохали. Часа в четыре у них один то ли купаться пошел. И нет и нет. К вечеру опомнились, искать стали. Вот и...». Словно себе самому рассказали с лодки. И ушел огонек, ушел обратно, вверх ушел, против течения.

Вот в эту, вторую ночь, долго я не мог уснуть. И вопрос с лодки тут не причем, – я и не думал об этом, если выпили – мало ли ушел, заблудился, уснул или в селе где приткнулся, всяко бывает...

И почти вся она эта ночь моя была. Всю я ее видел, жил в ней. Вбирал в себя, впитывал, и шорох леса – особенный, сплошной с прохрустами внезапными, всполохами шумовыми, и небесную ярмарку звездную рассыпчатую, голубококую. И срывались звезды и гасли, и пока жили в полете, можно было загадывать желание. А мне и пожелать то нечего было. Все было у меня в ту ночь, весь мир был во мне, и я был во всем мире. И места желанию не было ни во мне, ни в мире. Все было заполнено равновесием и гармонией,

как в точке молитвы. Но ведь не молился же я. Просто лежал и смотрел в небо, в звезды, и шум леса слышал и говор реки. Просто лежал – смотрел, слушал, дышал – как часть мира этого, сотворенного Богом. Может это такое молчание и есть высшая из возможных на земле молитв – единое с Божьим Миром дыхание?

Уснул я после полуночи, наверное. А встал также, в три. Звезды сияют. И необычное – ровный, мощный шум – ветер верховой по кронам тянет, первобытной прямо какой-то неизбывности, не порывами, а ровной тягой, течением небесным, и только по кронам его и слышно, внизу, где я – тишина движения полная, то есть ветер не с реки шел, а по-над лесом, и деревья отвечали ему, скрипели, трудно им было высоту держать, не кланяясь.

И все-таки почему, когда я говорю – Ночь в Великорецком. Не эта, вторая, ночь во мне, не та ночь, которая от и до моя была, которую прожил я вместе с ней же с ночью, как часть ее неотдельная, а та – Ночь, первая в Великорецком, которую и не видел я, спал в которой. Почему?

А рыбалка на второй мой рассвет отличная была – место там поглубже, рыбешка покрупнее. Уже не сразу и на берег выкинешь, поводит еще, подержит под водой – ох, и миг этот – сердце не на земле живет – кто там в глубинах водных... бывает и – зацеп, а сердце уж чуть не выскочило.

На обратном пути подошел к Купели. Полуголых нет. Народ одетый, да все основательный какой-то народ. Но стоят у дверей Купели, не заходят. Спрашиваю у мужика – есть кто в купели? Он говорит – сначала батюшки, потом уж мы.

Как батюшки, думаю, водосвятие что ли сегодня. Батюшки выходят от Источника, там, видно, служили. В рясах, но я их не знаю. Тут как осенило – Рождество Святи-

теля Николая – сегодня! Точно! А старообрядцы к этому Дню на Великую Ходом идут. Как и мы – Великорецким. Только они за два дня идут. А мы за три. Словно другими глазами и Берег, и людей я увидел. Самое яркое – платки у девушек белые-белые, неземной прямо белизны, как крылья ангелов может, потому что еще и сияют на солнце, а ведь материя, хоть и отутюженная. А некоторые платы еще и нитью серебряной горят – чудо.

И женщина, одна из двух – с кем сюда ехал, ко мне подошла.

«Вот Вы не спросили вчера – а Праздник сегодня». «Знаю, матушка, – отвечаю, – у нас, у православных, Рождество Святителя Николая тоже до революции в святцах было...». Говорю и чувствую, не то что-то говорю... Дошло. «Простите, я в смысле, православные, в смысле, мы все православные, оговорился я, простите...». «Да ничего, – отвечает, – Вы меня простите, с Праздником Вас». Окунул-ся я, ждал не долго.

Вот как это было. Ночь в Великорецком.

И ведь понял я почему – Ночь – это именно та, неведомая мне ночь, которую спал я. Потому что неведомое – Божие и есть. Та ночь, которую я видел, раз – видел, значит – со стороны смотрел. Сам себя – частью мира назвал, был бы частью – не думал бы об этом. Никогда ты частью Божьего Мира не станешь, пока в тебе разум главенствует. А главенствует он, разум, – всегда, когда бодрствует. Попробуй хоть миг ни о чем не думать. Вообще не о чем. Чтоб голова – пустая, что называется, была. Попробуй. Можешь? – Нет. Вот в том и дело. Святые подвижники православные – молитвой разум выключали. Вот тогда полностью Божьи были. Но такой уровень молитвы вытудить

надо. А простому человеку – как? Вот и спишь в Святом месте. Разум безмолвствует, а душа, душа то ведь не спит. Вот и есть она, душа, в тот миг – Божья. В гостях она – у Господа. От тебя, от себя отдыхает. А ты спишь. Не знаешь. Да и незачем тебе знать. А душа знает – где была, что видела, как от тебя отдохнула, вот и подсказывает тебе – Ночь в Великорецком. Ночь... И Богу Слава!

Ночью в Великорецком я действительно спал. Но жизнь не остановилась, не исчезла, не уснула вместе со мной. Жизнь продолжалась: также текла река, также дышал теплый ветер, вращалась земля, шло время, ночь проживала свои мгновения. И я, спящий, тоже жил в этой жизни, только не думал, не слышал, не видел. Но – жил! Жил, может, так единственно правильно, как только и надо жить на белом свете. Чем я занят, когда не сплю? Едва лишь открою глаза, я упрямо начинаю разбирать стену между собой и Богом, которую сам же и воздвиг, надежно и тщательно подгоняя свои грехи один к другому, в ряд и вверх, наподобие кирпичей. И к концу дня, сверяя дневные труды с вечерним правилом, я убеждаюсь, что моя стена за день стала лишь выше и крепче.

Но была одна Ночь, когда я напрочь забыл о стене. И стены не было. А Бог был. И я был. Этим чувством жива во мне – Ночь в Великорецком.

Хорошо это все, может оно все так и есть на самом деле, хорошо – а вот Оля откуда обо всем об этом знает? А вы сами догадайтесь...

При корне дерев

Возвратишься из поездки домой, усталый, замурзанный, не выспавшийся. И дело к ночи, и утром на работу. И выходящих будто и не было, одна усталость во всем существе и прогорклый до черноты, угольный запах костра. Зачем ездил, куда? – ругаешь себя. Еще и вымыться надо, и поест, и все – бегом, завтра вставать очень рано. И правило еще вечернее вычитать, хотя бы вычитать, после всего. Вычитаешь, и получаешь награду свою. Хорошо, чистому, лечь в чистую постель, закрыть глаза и под веками – тяжело качнется темная сонная вода, сырой прибрежный песок рассыпчато воспалит роговицу, подбоченясь, бойко запрыгает по мелкой ряби пузатый, узкоплечий поплавок, белый верх, красный низ. Все это за мгновение до сплошного отдохновенного сна. Такого, словно ты сам – пузатый и узкоплечий – соскользнул с лески и поплыл себе вниз, в ночь, по тихому течению реки, жизни.

Утром – только солнце и радость. Там, где была усталость – во всем существе – только солнце и радость. И начало дня похоже на начало новой, от пробуждения и навсегда безоблачной, чистой и яркой, как небо – как в небе, – жизни. Столько в тебе и вокруг света и сил, что слова утренних молитв, тепло притихшие в раскидисто-щедрой кроне твоего человеческого сердца, только и ждут радости выпорхнуть Небу береженным восторгом Любви. И молитвослов, который всегда с тобой, – и был в Великорецеком – вместе с легким шелестом страницы пахнет тонким, едва уловимым, но пронзительно настоящим дымком костровым.

Значит, правда? Сбылось Великорецкое, вновь.

На выходные вырвался из будней, из быта, из дома. Самое начало сентября. Погода сухая, поджарая, как лист к осени, но сильная еще теплом, жизнью.

Ночь. Лежу на левом высоком берегу Великой. В хвойном лесу у самого края обрыва. Правый берег – низкий, плоский – теснит реку песчаным просторным пустынным серполунием отмели, таинственно светит отчетливо-беззащитными на песке серебряными брюшками рассеянных лопушков. Дальше, выше – по-над отмелью – щетинится сторожевая защита покатым и густо-черным в ночи валом ивняка – там начинается небо.

Небо, звезды – вровень с моим, высоким берегом.

Лежу в небе.

Пихты, тяжелые, густые, как тьма, хвойные ветви надо мной, а рядом – чуть дальше и выше вытянутой через речку руки – огромный Ковш Медведицы, тихий хрусталик звезды закатился на самое доньшко, над ивняком, чуть выше. И все небо дышит звездами – это дыхание именно, шевеление, копошение живого голубого мерцания в отчетливой безмолвной бездне. Напротив, голову поверни легко, огромная белая полная луна сквозь ресничную хвою.

Одно небо кругом.

Лежать. И костерок прогорел. И угли дышат смиренным, сдержанным, трепещущим светло-красным жаром. И река течет, и мысли – естественно, спокойно, неостановимо. Неизбывно.

По темну, когда поплавок еще внятн на загустевшей воде, но нить червя никак не находит – и взгляд не помощник – игольное тело крючка, вернулся тогда на высоту берега, под пихтовый кров. Собрал костерок. Хлеб и простую еду разложил у огня, в трепещущем пламенем све-

те, словно делился с костром, на двоих накрывал трапезу. Тихо, равнодушно – ровной душой, отдельно от меня, текла жизнь, река, время. Горел, трепетал, поеживался от собственного жара костер. Картошку пек прямо в огне с краешка пекла. Спросил себя: давно ли ел я печеную картошку? И не знал, что ответить себе. Десятилетия жизни прошли, много было вопросов, а этого не было. Лет двадцать, наверное, или больше. Картошка. Палочкой выкатывал из костра, обжигало пламенем живым костяшки пальцев. Не касаясь запеченного чуда руками, лезвием ножа разделял вдоль пополам обожженный бесформенно покатый клубень, раскрывалась ярко-желтая с дымком сердцевина. Сыпал крупной, серовато-тусклой в свете огня солью и откусывал вместе с корочкой прямо, первобытно, неумело. Перехватывал, почти роняя, пальцы жгло.

Год назад был здесь в разгаре лета. Жара. Ушел из солнечного желто-зеленого смолистого пекла вниз в чистую просторную влагу реки. Переплыл, почти перешел, за исключением двух мощных взмахов на стремнине, поперек, вопреки настойчивому стремлению, на правый берег. Пляж песчаный, песок белый, прокаленный, замороженные зноем кустики лопушков. Лежал, зарывался, валялся по верху, вертелся. И жгло, и нежило. И ветерок, скользя, сквозил вдоль русла. И прореженный тенок ивняка дышал, трепетал на песке. И лопушки гребешились сторожко. Чувствовал свою первозданность. Нераздельную слитность земли и неба. И жарко не хватало жены человеческой. И не жалко было, что ребро мое на месте еще. И рай продолжался, длился, был, как этот белый песок, день блаженный, жаркий, живой. Спросил себя: сколько лет я так просто в горячем песке не валялся? С детства? С детства.

Тогда «почему?» прошли все следующие за детством годы, «зачем»? Смысл мира – сам мир – Дар Божий. Смысл жизни – сама жизнь – Дар Божий. – Живи. Радуйся.

Наука жить. Первую из наук тебе преподавал ее родной отец. Лес, река, и луг, и увал, и угор, лог и поле, и облако над полем – кровное было отцово, – родина, сторонушка. Любил и жалел. Учил тебя зеленому кузнечнику в таиннице сложенных ладошек, земляничной капельке на плавной дуге тончайшего стебелька под кровом резного листка, учил кисленке – молодому щавелю на заливных лугах, учил медноликой от торфа воде ручья, процеженной для питья через кепку, учил костру, учил черному хлебу с крупными кристаллами соли, лежащему у огня на лоскутке бересты. Как потерял ты отцову науку, науку рода человеческого, науку жить. Других и не надо было тебе наук, а все помнишь. Одну-единственную, первую, главную самую – забыл. Отец Небесный напомнил. Пихты ли у тебя в изголовье ствол неохватный или одно из оснований Трона Его? Село Великорецкое, Никольский Погост. – Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний.

Долго не мог заснуть. После полуночи рядом на небе проступила четко линейно поперх Ковша белая, и густая, и прозрачная полоса. От нее, но не сливаясь, скошенным гребнем в глубину вселенной выбелились в тон основания прозрачные вертикали.

Долго не засыпал. Слишком непривычно было быть вот так – в небе, мерцать костром, участвовать в общем шевелении пространства кашелотным движением ребер на вдохе и выдохе, разделять с пихтовым корнем протяжный, замшелый неуют позвоночной тяги, поводить, словно пле-

чами, равновесием окружающего чутко-отзывчивого мира. Все это тихое со-трудничество, созидание вместе мирiadного мироздания счастливо заботило человеческое существо, мешало оставлению, остановлению себя в себе. Ковш плавно поднимался, зачерпывал неубывающую бесконечность космоса, широко и напрасно. Белая полоса не двигалась. Была. Уходила под Ковш. Ушла полностью. Запомнил, заснул.

Рассвет. Рассеивающийся по миру Свет. Дышание. Вселенная начинает вдыхать темь ночи и выдыхать свет дня. Интонация ночи начинает уступать интонации дня. Начинает. Светлеет. Брезжит.

И вдруг – воздух замирает в новом свете. Это даже не свет, а первый цвет воздуха – зыбко-зеленоватый, такой, как если на бесцветное воздуха золотой тон наносить тонко-тонко-тоненько, а потом щедро промывать золотое морской прозрачной зеленой волной, то тогда – за миг до исчезновения цвета – проступит, почти неуловимое, рассветное созидание цвета света, еще не сам свет, еще только наитие о новом дне. В этом первоцвете света тихо забывает свой труд сердце, замирает, словно перекрывая, перегораживая собой горловину русла твоей жизни, останавливая течение, душа начинает наполняться жизнью, пребывает и пребывает, выше, выше, разливается вширь, избывая границы человека и мира. Это узнавание, встреча, зарождение цвета и света в одном общем начале.

Это миг, миг равный остановлению сердца, остановлению движения всей жизни в тебе и вокруг. Не удержать, не запомнить – все остановлено, замерло – сознание, память, мысли и чувства. Только душа в человеке пребывает

и пребывает, невозможно, неостановимо, все выше и выше душа пребывает.

Пребывает душа мира желанием жить, быть, пребывает – зябко скулит, просит щемящее – жить, быть.

Твоя узенькая полоска суши под обрывистым берегом. Мощный пласт Земли, легко надломленный вдоль, как каравай хлеба в сильных руках. Поднебесные пихты беззащитно кренятся в обрыв, нависают бесполезно натруженными узлами корней над жадной бездной небытия, в которой опрокинуты всей потаенной некогда корневой могучностью наружу, незыблемые, как только что казалось, зеленые, островерхие великаны, заиленные теперь стволами в мертвый серый крупинчатый песок, еще высыющую над гранью вод царственную тяжесть ветвистой тесно-игольчатой роскоши, опаленную смертной рыжиной. Холодная сталь реки, изогнутая плавно, равнодушно – величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Миг длится, и секира при корне дерев лежит.

И всего-то надо песчинке одной протиснуться, пропасть в тесное горлышко бытия, надо-то всего этому шару, который глобус, чуть по своей оси ворохнуть. Но пребывают секунды, душа пребывает. Движения нет. Мир остановлен.

Тогда, сейчас, в миг и узнаешь – это свечение, явленное в сечении мира, над ивняком высоко, напротив, явленное щедро ветхому брению человека, скомканному, на корточках, на узкой полоске суши под глиняно-песчаным, прожиленным корнями, желто-рыжим обрывом, при секире реки.

Напротив.

Рождение света в сечении мира на Иконе, напротив тебя в храме родном.

Два крепких облака. Два крепких Трона. Бог-Отец. Бог-Сын. А в Них, и за Ними, и над Ними – Иже от Отца исходящего – Это, узнанное в небе, напротив, при секире реки, еще не цвет и не свет, рассветное таинство света, общее в таинстве – Начало цвета и света. – Чисто, просторно.

Пространство Иконы животворит. Завораживает существо человека явленной мощью. Непрестанная работа Света. Напряженная работа ожидания, работа встречи. Встречи человека. Человек не спешит на встречу. Человек толпится перед Иконой. Тесно. Душно. Невыносимо. Ветхое мира толпится внутри человека. Все обветшало – не вынесу, не отдам – сроднился, сжился – мое, человеческое, не вынесу, не отдам. Ветхо. Невыносимо.

Свет на Иконе работает, ждет, встречает. Это работа покоя, невозможная зрению человека, но возможная восприятию сердца. Стань среди мирового океана, вод многих, на камушек Серафимов, на столп Симеонов, затвори чувства – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, грехи останови душевные вкупе и телесные, – что есть жизнь в тебе? Дышишь – дыхание. Сердце – стучит, не слева только, а в сечении – сплетении – твоего существа – солнечном. Кровь – красная жизненная жидкость, обращается в теле силою сердца – омывает составы и уды твои. Работа Жизни.

Теперь – уходи. На столпе, на камушке, как есть, погружайся на дно – без дна – океана вод. Вселенный океан сомкнулся над тобой. Тверди больше нет. Тебя больше нет. Дыхания – нет. Сердца – нет. Кровь – остановлена. Это – Начало. Твоя жизнь, ранее заключенная в плоти, освобождена от уз, стала частью работы Жизни. Все тоже. – Дыхание. Сплетение солнечное. Обращение жизненной

жидкости. – Во Вселенной все тоже, что было в тебе.

Отсюда. От Начала. Собирай себя в плоть. Поставляй себя на твердь. На камушек. На столп. Работай тверди посреди воды. Да будет твердь. Работай Свету. Да будет свет. И чтобы свет был хорош, работай Свету, работай навстречу Свету. И отделит Бог свет от тьмы. Сегодня отделит опять, благодаря тебе, работе твоей навстречу, сегодня вновь отделит Бог свет от тьмы. И тогда, и только тогда будет утро – день один.

Сечение мира, миг ежедневного отделения света от тьмы, явленный на Иконе, явлен тебе в небе Великорецком. В миг вновь освобождения русла жизни душа схлынывает вспять, возвращается в берега жизни, вновь границы мира непреодолимы границам человека.

Песчинку, крошечку одну серо-острую ощутил в заворожении меж подушечками указательного пальца и пальца большого и прокатил ее, песчинку, в подушечках, и уронил, сознательно, но не сознавая, что делаешь, машинально, просто отряхнул пальцы, упала песчинка и глобус пошел, вновь по оси и вновь по орбите пошел шар земной. Вновь жизнь.

Но этот неосознаваемый миг. Эта песчинка серо-острая в подушечках пальцев большого и указательного. Это таинство в глубине Иконы и таинство в воздухе мира Великорецкого перед разрешением света Светом. И удержит сердце в себе и сравнит – на Иконе таинство не преходящее, живое, трепетно-зихдущееся излияние, а в земном мире таинство явлено было тебе как остановление мира и жизни.

Так ли будет при Конце Света? Это не будет Конец Света. Это произойдет при Начале Света. Свет для тебя не начнется однажды. Таинство созидания цвета в свете

явится и не поколеблется, и – не прейдет, и – продлится, непреодолимой Божией высоты плотиной, станет на пути дней и лет человека и вся земная юдоль, все века и народы, – нехотя, медленно, еще не сознавая, что происходит, но неотвратно и неизбежно, – нахлынут, упрутся, останутся, пребывая и пребывая, выше и выше к Страшному Суду. Тесно. Душно. Невыносимо.

Но сегодня – таинство разрешается светом. Совсем светло. Тихо. Безбрежно. Скоро солнце.

Солнце. Заливает золотым светом пупырчатый холодок песчаного пляжика напротив, сдержанно расцветивает ивняк, тронутый осенней желтизной. Высокий берег еще в тени вековых пихт, зубчатая косматая тень покрывает почти полностью поверхность реки. Сидишь у самой воды под обрывом. Удочки заброшены. Вода ровнехонькая, как отутюженная, и туман над ней зыбкий, зябкий, парит не касаясь, а вниз по течению над пихтами сплошными луна белая-белая – сгусток тумана – на ярко-синем небе.

Шевеление поплавок, замирание сердца, одновременное, вдруг трепыханье того и другого, и – подводу, и – в ребра, и – рука дело знает, есть тяга подводная. Есть окурек. С ладонь, но уже горбится, как юный зубр, темные глубинные полосы по черенному с прозеленью серебру чешуи, плавник радужный раскрыт воинственно.

И вновь – тишина. Рассвет в силе. Раннее утро. Птицы звонко частят голосами чистыми, но радостный их перебой стоит над тишиной по верху, туман стоит над водой. Зыбко, звонко, зябко, не холодом – чистотой сквозит душу.

Чаша утра полна, подступила всей силой света, всей чистотой под самые колокола Великорецкие, потревожила, качнула, ответили колокола. Густо, гулко, ковка над лесом, над рекой, по небу, по сердцу.

И Литургия в монастырском храме. И Крест к целованию. Вернусь, сижу на бревнышке над самым обрывом – день ясный жаркий – река в моем месте поворот делает, и поэтому далекий Алтарь на поляне прямо передо мной, перед глазами – купол на длинной «дощатой шее» и Крест, солнцем омытый, летящий в синеве поверх хвойных вершин. Встаю. – Крестное знамение. Поклон. – Слава Тебе Господи, Слава Тебе.

«Яко ум мой о лукавстве мира сего на молитве подвижеся», – опомнился на вечернем правиле, словно не было целого дня жизни. Сегодня – не было. Великоорецкое все было, сбылось во всем теле, там, где усталость – во всем существе. И запах костра. В пропеченном за солнечный летний день бумажном беспорядке комнаты, сквозяще сизый – сквозь желтое, зеленое – запах костра, крепкого настоя на темной, как заваренный ком смородиновых листьев, ноше рюкзачной, что скомкана посреди мира, накрепкая, в путах, завязках, лямках. Не разобрал еще ношу, некогда было. Себя не разобрал еще. За пятьдесят лет жизни не разобрал. Непонятно было.

Что человек, Господи? Что ночи мои и дни? Неужели я напрасное создание Твое, даром расточившее Дар Твой? Что мне будет за это? За это – сам я себе – наказание и казнь. Сам придумал себе свою жизнь. Сложно вымыслил – с вывертом, с подковыркой, с гордыней – все мне по силам, все мне по праву. Да – это так, и нет ничего глупее, безрадостней и бездарней, чем посвятить свою жизнь – себе. Зачем? В человеке нет собственного пути. То, что идет в могилу и в землю, не может быть путь. И тот, кто идет в могилу и в землю, не может быть путник. Каж-

дый человек – это путь Бога. И только в Боге человек – и путь, и путник. Но путь – свободный. И это страшно. И это единственное, чего не боится человек, и это единственное, чего надо бояться человеку – свободы, собственной свободы своей. Потому что свобода – это то единственное, чего у тебя, человек, нет на самом деле, и на самом деле никогда не будет. Твоя свобода выбора – это всего лишь дар тебе. Это свобода – Бога. Это не твоя свобода. Прозри и виждь, человек. Здесь ты обманул себя больше всего и страшнее и безысходнее всего. Ты никогда, никогда не свободен, никогда не будешь свободен от себя самого. Ты весь без остатка подчинен сам себе. Своим собственным мыслям, желаниям, мечтам, обязанностям, сам подчинен себе, жизни своей подчинен. Поэтому ты – тупик, ложь и смерть. Подчини себя Богу. Он – Путь, и Истина, и Жизнь. Открой себя Его воле, Его пути в тебе, Его замыслу о тебе. Тогда в жизни твоей будет чисто и ясно, как в небе. В жизни должно быть чисто и ясно. Учись быть среди звезд ночью и среди облаков днем. Учись небу. Учи себя небу. Учи себя быть в небе, жить. Береги созидание мира, творение мира, которому ты сотрудник. Не на земле собирай, в небе.

Помнишь Великорецкое? Сбылось в твоей жизни? Ты сбылся тогда. Человек сбывается в Боге. Сбывается Бог в человеке. Сбывается небо на земле, сбывается земля в небе. Это миг созидания – кропотливо, и неустанно, и неостановимо – сбывается мироздание, и ты – сотрудник, и событие бытия – человек.

В руке Твои, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, при-
даю дух мой. Ты же мя помилуй, благослови и живот веч-
ный даруй мне, рабу Твоему. Аминь.

Прежде, чем отойти ко сну, произнеси.

Так и произнес.

2. раб Божий

...это – я, Господи... стать бы и мне – рабом Божиим. Прелюбодейный и лукавый – зачем такой раб. Как искренним стать, быть рабом Божиим? И страшно. Прижился я уже в своей нише.

...рабом. Чехов, Антон Павлович, правильно писал, почти правильно – выдавливать из себя раба. Но он не объяснил ничего. Говорил о земном рабе, рабе миру земному, страстям земным жизненным, вот этого раба из себя выдавливать надо. Но начни выдавливать, а на опустевшее место еще семь злейших рабов придут, поселятся, и будет второе хуже первого. Не выдавливать надо. Надо – приобрести. Приобретать в себе раба Божьего. Тогда, чем больше в тебе раба Божьего, тем меньше в тебе раба земного, и пустоты – нет.

...вот именно поэтому я только хотел бы назвать себя рабом Божиим, но права не имею, очень мало во мне Божьего раба, а земного много.

...О род лукавый и прелюбодейный, доколе буду пребывать с вами. Это Господь моему роду сказал, роду человеческому. И я один из этого рода, аз есмь – прелюбодейный и лукавый. Прелюбодейный – что было то было, и спорить не с чем. А вот – лукавый? Я себя в принципе всегда, очень долго, почти всю земную жизнь, которая до православия была, «честным человеком» считал. Гордился – именно, гордился – честь, типа, есть у меня. На самом деле это тип чести был внешний, для людей, перед своим родом я вид делал. Глаза – очи сердца – прозревали трудно и не сами собой прозревали, Новым Заветом, Евангелием. «Он

плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойдй, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойдй на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю».

Вот и я не знаю: где Он.

Но я знаю, Кто открыл мне глаза.

Оттуда, трудно, лет десять-пятнадцать, стало проступать в сердце настоящее предметов, и видел людей, ходящих как деревья, но самое удивительное – потихоньку начинал видеть себя не того, каким хотел казаться пред своим родом, но того, какого сам в себе создавал вопреки замысла Божия о мне. Горькое это было знакомство.

Старцы в моей жизни – это отдельная история, может, и расскажу когда-нибудь. Но однажды не было пути, а потом был путь. И стал я в зыбком зеленом девственно-колком хвойном мареве на границе трех среднерусских областей. Затерянный в соснах храм, церквушка среднерусская в честь святителя Николая Чудотворца. Понизу вплотную к храму, как дети малые к Отцу, стеснились кресты – кряжи, «ежи» обороны Христовой, – кладбище. Близко. В снегу – под солнцем – ярком, взволнованном от разгулявшегося по полевому русскому простору Света и замершем сугробами – гробами, горбами чистыми, паче снега. Избушка

бревенчатая, крестьянская, деревенская, без деревни, одна – сиротинушка. Чья из трех областей? Божия. Близ при дверях, в сени ведущих, серых дощатых, богатырь – это значит от Бога богат. Огромный – белому грому, замолчавшему во глубинах России, подобный – сугроб; гроб, в черном облачении, но облачен – от облако, не от туча, а то был бы тучен, но не был. Старец. На низенькой лавочке сидел. Ручеек рода человеческого предстал пред ним по свежему искреннему в Свете снегу, по человеческой капле капал – пал на колени, и новая капля за каплей. Лей слово за словом – слышат тебя и слушают. Спросил и я, сил произнесения слова едва хватало на голос.

– Отче, о пути человека к Богу, о Православии русского человека к Богу имею дерзновение рассказать, о себе как о пути к Богу, рассказ записать на бумаге, можно, возможно мне?

– Пиши. Коротко только пиши. Кратко. Скоро и это некогда будет читать. Скоро.

Среди трех областей России. Накануне тысячелетия, третьего от Рождества Христова. На кануне. Канун – это глыба, подножье Креста, место лобное для свечей за упокой, поминовение; Храм и кресты к нему – кладбище, место лобное – канун Земли, куба земного. Февраль. Преддверие марта сороковой весны моего бытия. Так было.

Кратко. Поэтому нет времени на сочинение фамилий и биографий героев, на фабулу и сюжет, на катарсис. Пиши – что видел, такой совет дает Бунин, Иван Алексеевич. Прием – в отсутствии приема. Бытие – жизнь земная – художественно организовано, так как создано Творцом. Задача литератора в меру своего зрения увидеть, в меру своих сил таланта отразить замысел Творца. Не надо ниче-

го выдумывать. – Времени нет. Скоро и это некогда будет читать. Скоро.

Поэтому «я» моих записей – это не лично я, не автор. Я, автор, первейший из грешников. А всю мерзость греха, даже на исповеди, одному только Богу, выговорить не можешь. Если даже на исповеди – ложь, то на бумаге откуда правда возьмется? Всяк человек – ложь. Про всяк не знаю, а я, автор, точно ложь. Поэтому «я» моих записей и «он» моих записей – это «я» и «он» – рода человеческого. Все ли мы как песка песчинки? Разные – все. Нет – в существе своем все мы одинаковые – род человеческий, прелюбодейный и лукавый, доколе Он будет пребывать с нами? Это зависит от нас, от каждого из нас, от каждой песчинки. Он никогда не оставит нас. Ничто не может отлучить нас от Любви Божьей. Ничто и никто. Только мы сами вправе отлучать себя от Него, свободным выбором собственной воли. И – отлучаем. Отлучаемся «на минутку», на час, на жизнь – отлучаемся Жизни. Смертью умрешь. А мы умудряемся проживать смертью. Мы думаем, наше «я», личность, тем ярче, чем больше мы исказим в себе Образ Божий. А на самом деле, чем больше мы Его восстановим в себе, себя восстановим Ему, тем ярче, индивидуальнее, личностнее будет наше человеческое «я». Встанем пред иконами православных святых. В святых четче, чем в обычных людях, Образ Божий, в них больше Бога. Вот преподобный Серафим Саровский, а вот преподобный Сергей Радонежский, вот святитель Николай архиепископ Мир Ликийских, а вот святитель Спиридон Тримифутский. И никогда один образ за другой не примешь. Личностное четче – не в удалении от Бога, а в приближении к Нему. Такова Божья Любовь к роду человеческому, к человеку, что Он каждому творе-

нию Своему, вместе с вдохновением Жизни, дает и дар, талант жизни, каждому творению свой – это и есть твой неповторимый облик, прояви только его в себе и станешь ни на кого не похож, на себя только одного-единственного, такого, каким и Замыслил тебя Господь. Но именно этим и со всем человеческим родом объединишься – потому что каждого Замыслил Господь. (Чем больше в тебе Бога, тем ближе ты к замыслу Творца, тем больше в тебе и общего рода человеческого, а общее наше – Бог.) Чем больше человек открывает в себе Бога, тем явственней в человеке Божий Дар, талант, данный лично этому человеку, тем ярче личность. Но удивительно, именно в этом ярком индивидуальном четко обозначенном Замысле Творца ярче, понятнее и общечеловеческое – общее рода человеческого. А чем дальше человек от Бога, чем больше в человеке самости, труда – «быть не как все», тем безличнее человек, тем песчаннее, тем скучнее в потугах своих. Внешне такого человека очень много, а отведешь глаза от его мельтешения, попытаешься вспомнить – что это было? И пустота в памяти – пустота. А другой человек тих и слова не скажет, а светит и светит в душе годы и годы. Так и литература – в одной много всего, а отвел глаза и не вспомнишь о чем. А другая – спокойна, широка, на поверхности тиха, и такие течения в глубине, водовороты, омуты – и всегда новая – русская проза такая...

Будь всем доволен

И вот майский дождь с утра. Средине мая. На самом деле начало мая – по старому стилю – начало.

Черемуха цветет. Вятка невестится. Лепечет белым. Улицы горбатятся. Возносятся на горбах и сгущают в провалах зеленое вознесение зреющей листвы, свежей и нежной. И задохнулся бы взгляд зеленым летом, да белая всклень цветенья переводит душу – передохнуть позволяет. Черемуха, яблоньки – дикие, а радуются миру светло и благообразно. Человек – спешит, в гуще домов и порядке дерев, вдоль и поперек хитросплетения улиц, вдруг – ног под собой не чувствует, а чувствует только дивную сладость цветения, и сам – как лепесток легкий вдруг и ароматом радости взлелеян. Остановись, дыши. Нет, дальше бежать надо. Беги. Останутся пока еще город – пусть Вятка какая-нибудь – черемуха, белый лепет. Но и это ненадолго.

Цвет черемухи и никаких тебе холодов. И ливень, дождь, вернее, дождишко, усердием легкость свою восполняет, и потащит разливными по обочинам дорог ручьями крохотное, белое, лепестковое, беззащитное, бессильное в потоке ребристом, не жалкое – жалостное, люби и жалеяй. Нет, дальше бежать надо.

Начало мая. И в продолжение ливня ночного дождь сплошной утренний пасмурный. Все время перед этим жара была настоящая летняя до рукавов коротких, до третьей – да и та, как честное женское слово, от себя самой устала – пуговицы блузок распахнутых. Такая жара для Вятки явление исключительное даже летом. Недельку стояла жара. Состояние переезда с квартиры на квартиру. Вещи в одном месте, а сам в другом. Недельку маялся – в ботинках глухих,

в рубашках с длинным рукавом, еще и кофту шерстяную с собой постоянно таскал, оставляю, мол, точно – похолодает сразу. Приехал к вещам. Рубашки взял с коротким рукавом. Подумал. взял одну и с длинным. Ботинки летние сменил на сандалии. Здесь не думал даже. Но мелькнуло – в начале апреля также все ходил в фуражке, а жарко было. взял да и оставил фуражку там, где вещи все. Ночевал от вещей отдельно. Утром – естественно – снег пошел. Причем он, фуражку оставляя, именно так и подумал: оставляю – будет снег. Был. С ботинками – думал про дождь. Вот и – дождь. Еще на работу опаздывал. Правило не успевал вычитать. Но читал, и торопился, и раздражался. И дождь. Дождь и сандалии. И улыбку вызывали, и раздражение. И, вроде, не к месту совсем – быстрее же все надо, сказал себе: надо понять, что происходит. всю жизнь происходит, а понять и не пытался. Даже не пытался.

Фуражка, ботинки – неважно, каждый человек, песчинка каждая, с такими явлениями сталкивался, их еще «закон подлости» называют. И что на самом деле – есть этот закон? Быть того не может. Представить, что мир подстраивается под меня? И не просто подстраивается, а выстраивается таким образом – чтобы назло мне было? весь мир, вселенная вся ждет удобного случая, чтобы мне напакостить? Вот, переобулся я в сандалии – дождь. Хорошо. Плохо, вернее – но это мне плохо. А населению Вятки за что ливень? Сотни тысяч людей, сотни тысяч желаний и намерений. Вся Вятка переобулась? – Глупо. Нет. Мир под меня лично – меняться не может. Потому что если под меня может, то и под каждого. И что будет – это не хаос даже будет. Неизвестно что. Хаос – это неразбериха, пусть – броуновское движение – внутри объекта. Но сам

объект должен сохранять внешнее, хотя бы – контур. Когда контур начнет отвечать хаосу системы – это конец. Это не только с миром, это и с человеком также точно происходит. Дождь, сандалии. Но мир, вот он – дождь идет, троллейбусы – отвратительно – не дожидаться, – но – ходят, часы идут, на работу опаздываю. То есть не конец еще. Значит, эти штуки со мной только происходят, во мне, вернее, внутри меня. Сам я, и никто иной, распорядитель своего собственного бала. Но если я знал, пусть не знал, пусть предполагал только, – что дождь будет, то зачем же я ботинки оставил? Это можно было себе назло так сделать. Но я этого сознательно не делал – вот так именно – назло. Но именно это я и сделал? Значит, во мне или всегда рядом со мной, помимо меня осознанного, еще кто-то есть, неосознанный? Он и про дождь знал, и ботинки подтолкнул оставить? И смеялся потом, нет, когда я ботинки оставил, он не смеялся – я бы услышал. А вот когда дождь и сандалии – вот тогда он смеялся, а я раздражался. Но, справедливости ради, – было у меня осознание того, что ботинки мне нужны будут. Почему же я этому осознанию не поверил? Сделал так, как сделал, получилось – себе назло. По крайней мере, одно точно – возможность и даже – свобода выбора – у меня была. Мог и переобуться, и ботинки с собой взять. Но – не взял.

Как же этот псевдозакон работает? Работает – вопроса нет – каждый убеждался. Как работает? Предчувствие дождя, снега, жары, холода и одежда – «наоборот», или не одежда, а, например, зонт возьмешь – дождя точно не будет, и таскай его, бесполезный, весь день. Правильно, это все внутри меня происходит: с одной стороны – предупреждение; с другой стороны – выбор назло – на мелкое, но зло – себе.

Пример – посложнее. Вроде как хлеб с маслом – маслом вниз всегда падает? Всегда? Было – меня самого жизнь однажды настолько задавила, не то что света белого, про света не было. Невмоготу. И, на самом пределе сил, утром, кофе горячий пью и приготовился откусить – о, первый откус! – хлеб с маслом, естественно, и с сыром. Естественно, потому что день не строгий – ни «лобзания среда», ни «пропятия пяток» – поста в этот день не было. Хлеб – прыг из руки. И – но! – маслом и сыром кверху. Чувства мои? Восхищен был: настолько я жизнью задавлен, что даже уже каплю к этому прибавить нельзя. Даже хлеб с маслом стал падать – по благодати, а не «по подлости».

По благодати. Вот и ключ, вот и ответ. По Благодати.

Падение хлеба с маслом и результат этого падения – маслом вверх, маслом вниз – в любом случае вне моей воли, даже – вне моего участия. Значит, мир – хаос мира – отвечает мне? Именно мне конкретному, видит меня и – заботится обо мне? Но тогда – это не хаос, а – порядок, которого я не понимаю, который в силу непонимания моего кажется мне хаосом, случайным движением? Не внутренним же своим расположением я хлеб с маслом роняю? Роняю – я, но кто хлеб подхватывает и потом – либо шлепает вниз маслом, либо бережно выкладывает маслом вверх? И вот – всегда – маслом вниз. Это закон подлости? Но – не всегда. Но иногда – почему? – маслом вверх. Второе – это не закон. Что это? Случайность? Но почему вовремя так?

Здесь очень важно, если ты принимаешь мир – внутри себя принимаешь, все-таки ты сам распорядитель своего собственного бала, – как набор случайностей, – мир и будет для тебя набором случайностей. И тогда – пуганая ворона куста боится. И тогда мир – это средоточие кустов, юдоль страха.

Случайность? Вот это? Забота эта, буквально забота – отеческая, материнская, родительская? Забота о тебе настолько, внимание к тебе настолько, что даже хлеб с маслом, выпавший из твоих рук, не огорчит тебя падением маслом вниз? Не огорчит, если ты это последнее огорчение, последнюю каплю, понести не сможешь. Значит, Кто-то знает об этом, знает о тебе больше, чем ты сам знаешь, заботится о тебе – больше, чем ты сам это умеешь и можешь. Заботится – и благодатью отменяет закон. И – или – это все – случайно?

Благо дается человеку. Не по делам, не по заслугам. Почему? По Любви. И самое главное благо – возможность жить. Каждый раз – когда соприкасаешься с бедой, трагедией, видишь мельчайшее сцепление совершенно незначительных – каждая по отдельности – случайностей. Одна бы случайность не случилась или случилась бы на секунду позже, и весь механизм трагедии рассыпался бы, или – прочен, если – провернулся бы вхолостую. Механизм, а – было: мусор событийный, груда запчастей и Кто встряхнул раз-другой, и мельчайшими сцеплениями постепенно сложилось в механизм, затикало, а встряхни еще раз – и снова мусор, груда, хаос, жизнь. Но это мы видим со стороны, когда трагедия у нас на глазах. А холостой ход механизма смерти в собственной жизни не замечаем. А он – механизм смерти – ежесекундно молотит на холостом ходу в нашей жизни и кроха какая-нибудь, заусенка совпадет с заусенкой ко времени и к месту и – сработает, произойдет зацепление. Но не происходит. А мы не думаем об этом и не замечаем. Волос не падает с головы человека без воли Божией. Знаем. И не воспринимаем. Не задумываемся. Волос не падает. И жизнь твоя, и твоих близких, и

каждого человека на этом волоске и держится. А бритвенной остроты ножницы смерти щелкают ежесекундно, мнут и твой волосок – но нет Божией Воли – и вхолостую. До тех пор – пока. И вот это самое главное в своей жизни – человек взял и отказался – и понимать, и замечать. С одной стороны задумываться – нельзя. Шагнуть – не сможешь, как сороконожка – какой, вроде, ногой? Задумываться – нельзя, а понимать – надо. Это понимание – есть страх Божий. Начало Божьего страха. Пойми и – бойся Бога. Бога бояться не стыдно. Это не трусость, это высшая мудрость из возможных на земле человеку. Бога бояться – никого не бояться. Действительно, – кого еще? – если только Он волоску жизни твоей Хозяин. Кусты – вот они, юдоль страха земного – вот она. Но ты ведь не ворона, ты – человек. Думай. Божьему страху учись, тогда земному страху места – и смысла – в тебе не будет.

И это – жизнь твоя. А хлеб с маслом, неужели и хлеб с маслом? Ужели. В том случае, когда это маслом вниз, может стать для тебя последней «случайностью» – заусенкой, которой механизм смерти в зацепление войдет. Тогда и падает – маслом вверх – по благодати.

И я это видел, своими глазами видел, раз и – маслом вверх, восхитился я. Поделился я своим восхищением с другом. Она – да, да, она – какой, вроде, из женщины – друг? По закону. А по благодати был я в жизни счастлив, знал несколько таких исключений. Это при всем горячем и горячечном стремлении к женскому во дни юности и старше. Но были некоторые – избранные? званые? – Богом данные – о них даже мыслей ни таких, ни сяких не возникало, а женщины красивые были, – но большее открыли они – сердца были у них сердечные, и друзья из них были

дружнейшие. Может, и примешивалось что-то телесное к этому, но такое – райское, – как до падения, в Божьем неведении различия естества. Зато предавали почему-то всегда – обычно, то есть – затейливо, по-бабьи, с лобзанием, с мечами и кольями, с разбрасыванием сребреников, с капризом. Женщина – друг, тоже в своем роде, для других, кроме тебя, друга, – хлеб с маслом и с сыром, аппетитный и желанный – о, первый откус! – но рука не поднимается, и мысли не опускаются. И не потому что – день строгий, а потому что – потому. Не хлебом единым. Так бы и жить. По благодати. Но всегда есть – свобода выбора. Вот закон, вот благодать. Предательство восстанавливает естественный – для человека – смертный, как грехопадение, – ход вещей, порядок смертный, привычный – маслом вниз, – по закону. Это все – к слову.

Она, друг, подумала и отвечает – про хлеб маслом вверх: «Ты знаешь, а я вообще даже и уронить не могу».

Вот – оно, подумал. Вот где – Крест по силам каждому. У одного силы еще остаются – чтобы упасть и встать, или – хлеб поднять, если маслом вверх упал. Поднять в изумлении счастливым и радостным. И отсюда – дальше жить и дольше, мол, ничего еще, терпимо. А упали маслом – вниз? Тут бы и завыл, может и жить бы не смог дальше. От этой капли последней. Но вот она и не падает, капля, вопреки всем законам физики и жизни, да – не жизни! а – смерти, подлости вопреки, – не падает. Почему? – По благодати.

Значит, хаос мира отвечает все-таки хаосу нашей жизни? Раз по благодати отвечает, то и по закону отвечать может? Отсюда и гороскопы все эти, и все эти знаки зодиака. Прямо один в один с каждой жизнью совпадают? На самом деле так же и совпадают – как то, чтобы в один и тот

же день, ранним утром вся Вятка из ботинок в сандалиии переобулась и в дождь пошла, ноги промачивать. Степень вероятности такая же. Но скажи, что не совпадает? Совпадает. Только что совпадает? И кто с кем в тебе совпадает?

Сам однажды это пережил. Гороскопы сознательно не принимал, хотя мельком поражался – точному совпадению порой. Но до вопроса еще не дожил, тем более – до ответа. Но не воспринимал их, не интересовался. И вот влезло же в ухо. Завтра овнов ждет любовное приключение. Усмехнулся только. Молод был и жил тогда строго. Не только женщин, вообще людей не видел никаких, бородищу отращивал – такую, что уже можно было расчесывать ее на две окладистых половины, и не общался ни с кем, и не предполагалось даже. Поэтому и усмехнулся – любовное приключение, и у всех овнов сразу – неплохо.

И завтра вечером вышел, на службу в храм пошел, на ходу подумал еще с усмешкой – приключение. А в утробе, если честно, ныло, ведь что-то, мол, не плохо бы – любовное. Загрустил даже – вечер, служба, правило, и спать – не будет, значит, приключения. И голос за спиной. И приятель, сколько уж лет не виделись. И чего на улице говорить? Вон мы с девчонками в кафе сидим, зайди на минуту. Да некогда. Да на минуту, выпьем и пойдешь. Да не пью я сейчас. Да и мы не пьем, по глоточку-то. И вот до сих пор, если честно, не жалел он о том, что тогда случилось. Раскаивался искренне, а не жалел. Поэтому и читал всегда, после этого, с особым каким-то чувством молитву Божией Матери – не попускай, Пречистая, воли моей совершаться. Потому что дай только волю моей собственной воле – такого натворить может. А вечер тот с пятницы на понедельник не по гороскопу же сбился, а понятно – как:

механизм смерти, шестеренка к шестеренке – зацепление. Так вот и – падаем. И при этом была и свобода выбора – иди дальше в храм, не сворачивай, и никаких приключений. Свобода выбора. Для того ведь и услышал гороскоп – чтобы настороже быть, и не понял, и возжелал утробно, не осознано, и – получил. И не по благодати получил, а как раз таки по закону этому, в меру собственной подлости.

Гороскопы никогда не воспринимал. А за приметы долго держался. Мыслящее же существо человек – вот и мыслил, анализировал. Совпадает ведь. Заметил даже, что вот – вернулся, пути не будет. Так даже если только собрался вернуться, но опомнился и не вернулся. А день все равно не идет. Правильно. Потому что – ты сам, свободным выбором, закон этот вспомнил и по его, закона, закону стал действовать – не вернулся, то есть закону подчинился. Вот и получай – по закону, в меру, не законом, кстати, а твоей собственной подлостью, тебе отмеренной.

С тринадцатым числом еще интереснее. Я его в счастливое превратил. Именно так – я сам превратил. Важное дело в этот день получилось. Стал я важные дела к этому дню тянуть. И как посыпалось – удача за удачей, аж задохнуться начинаешь от жадности, а протрезвеешь четырнадцатым днем и – стыдно, словно воровал вчера, да еще и второпях воровал, жадно. И пошло – тринадцатое место досталось, значит, поездка как на крыльях будет. Разобраться – тринадцатого дня у нас в России вообще нет, двадцать шестой он, в него я, кстати, и родился.

По благодати тринадцатое число для меня счастливым стало? Да нет – по закону, по самому наиподлейшему закону. А по благодати – не числи ни дни, ни пространства – у

Господа времени нет, нет расстояний.

Но это все и – не об этой глупости, распространенной среди рода человеческого, мол, думаешь о будущем плохо, – плохо и будет, так как и думаешь, а думаешь – хорошо, хорошо и будет. Как бы не так. Очень просто: умирать на бытовом уровне никто не думает и не мечтает даже об этом. Однако умирают все, и неизбежно, а многие еще и при жизни. Не ходи в православный храм, не исповедайся, не причащайся – и, думаешь, живой ты? – думай.

Хотя, вот это – бойтесь желаний, ибо они осуществляются. Это – работает. Осуществляются. И бояться – надо. Желание – это внешнее, а под желанием – что? – воля наша собственная, она и страшна, потому что – свободна, Дар такой каждому человеку от Бога. И лучше – не желать. Потому что мы желаем осуществления конкретного события в своей жизни, а всю свою жизнь в координатах, которой единственно и может произойти это событие – не учитываем. А с исполнением этого события – такое сцеплено, что мы и не предполагаем. И – живешь спокойно. Вдруг, бабах, и вся твоя жизнь превращается в сущий ад. И ты вопишь – за что? Но если хватит силы и сможешь отстраниться и взглянуть на себя и на жизнь свою со стороны. Трезво взглянуть. Забыв о боли бытия своего. В существе – не в наносных случайных деталях, а именно в существе, в первопричине происходящего с тобой внезапно и «ни за что» – вдруг увидишь – именно этого и желал ты, именно об этом и мечтал ты страстно ночами бессонными, именно так и хотел. Не предполагал только – что в такой форме явится исполнение желания. А оно – явилось. И ты – хотел этого. Именно этого ты и хотел.

Как это может быть? Просто. На бытовом уровне многие бы хотели жить вечно, на земле жить. Жизнью этой своей. И вот приходит смерть земная. И умирает человек. Тут и убеждается – что смерти-то на самом деле – нет, а жизнь вечная есть. Но поскольку ты в земной своей жизни вечную жизнь в расчет не принимал, то сейчас – вечно, то есть придется тебе ответ – за земные свои грехи и поступки – держать. То есть – сбывлось ведь, не умер. Но то, что это твое вечное бытие твоим вечным ответом станет за краткие псевдовеселия земные, – не предполагал.

И сны точно так же. Вот – сбываются. Хоть стой, хоть падай. Не в деталях. Но в смыслах, по существу сбываются. Которые сны запомнил, те и сбываются. Может, если бы все запоминал, все бы сбывались? Но есть путь другой. Проходил я это. Страшный видел сон – не кошмар, а реальность искажения жизни своей. И все шло к тому – что стал сон сбываться. Механизм зацепляться начал. Храм и Молитва. И так стал в храме, что прямо перед Иверской Иконой Божией Матери встал. Ей и молился. И клацнул только механизм смерти вхолостую. Но – клацанье это слышимо было явственно. И – холодком пахнуло в желудочек сердечный.

Так и смерть сама. Однажды почувствовал – все. Здесь – край. И сон, кстати, был и все – шло к тому. Летел сам как хлеб с маслом – маслом вниз. Храм, исповедь. И что батюшка говорил, то и делал. Нелегко. Непросто. Жизнь поменял. Потому что та жизнь, что оставалась еще, к смерти вела, я это физически чувствовал. Шаг за шагом и вышел. И вот когда вышел, стоял в храме, и батюшка, проходя мимо после службы, приостановился, сказал просто, без нажима:

– Не колобродь больше, может, и поживешь еще маленько.

Вскинулся. О смерти с батюшкой не говорил. О жизни только говорили мы с батюшкой.

– Неужели было что-то? Я ведь прямо так и чувствовал. Поэтому и пришел тогда к Вам.

Молчал батюшка. Потом добавил. Повторил:

– Не колобродь.

Есть и гороскопы, и сны, и нечисть всякая, но это явления низкой природы, низшая ступень бытия, и законна она, сущностна для тебя только в меру твоего собственного расположения к ней и свободного выбора. А есть и другая мера – вера православная. Есть и ступень другая – высшая. Там – Любовь. Там – Благодать. Где это? В храме православном. Исповедь и причастие. Причащение Честных и Животворящих Христовых Тайн. Тела и Крови Христовых. Стоял однажды к исповеди, а передо мной в очереди одни бабушки. Платочки, кофточки, седина, морщинки. Вдруг голос священника, – батюшка молодой, строгий, серьезный – принимающего исповедников, громче стал, выше:

– Так все-таки Чего Причащаться будешь?

Голоса исповедницы слышно не было.

– Отойди, встань вот здесь, рядом, подумай.

И следующую исповедницу – так же рядом с первой поставил. Понял я, батюшка голос специально возвышает, чтобы стоящие к исповеди задумались, ответ приготовили. Очередь небольшая была. И вся очередь стала ошуюю батюшки-исповедника. Пора было и мне идти. Исповедался. И главный вопрос услышал – громко. И ответил тоже громко.

– Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа по немощи моей под видом вина и хлеба Причаститься дерзаю.

Бабушки после меня тоже под епитрахиль пошли.

И – что, так я один единственный из всех исповедников того дня знал о Причащении? Здесь – главный вопрос. Ответ: с точностью до наоборот. Я свое непонимание и проявил громким голосом. Почему же молчали бабушки? Христовы Тайны – это Страшные Тайны. И даже говорить – Страшно. И только такой маловвер, как я, мог отчеканить. И как я гордился собой. Гордился. А Господь допустил меня к Чаше.

Может ли быть Такое по закону? Никак. Никто из живых и живущих, никто не достоин Причастия Христовых Тайн. Но – Причащаемся. Как? По Любви. По Благодати.

Пишу я эти строки – все, как нынче говорят, в режиме реального времени – что это рассказ, не рассказ, достойно это русской литературы недостойно? Только Господь один и знает. А я надеюсь – что важно это все для населения современного. Пишу, сам думаю, – мыслящее же я существо, – полез я в сферу зыбкую, опасную даже. Как шарахнет меня с той, с темной стороны, козни, которой я и разбираю, вроде – куда лезу. С другой стороны – если наткнулся на это – так и говорить надо: делай, что должно. А страх есть. Но не Божий страх. – Позволено ли мне рукой водить – или это враг мной водит, и его же, врага, и боюсь я? Что делать? Врага бояться – в жизнь не ходить.

И вот что со мной происходит прямо меж вот этих самых строк.

Надо ехать в соседнюю область. Давно надо, а не получается. Ехать на машине. За рулем родной мне молодой человек. Расстояние не велико, километров триста в одну сторону. Взял я у священника благословение на поездку. Вот – благословение и благодать. На Афоне спросил у

старца: как Волю Божию знать? – Бери благословение.

Благословение мы как берем? – Мы свое собственное решение намереваемся утвердить благословением. Сначала билеты возьмем, на какой-нибудь юг ехать, потом идем за благословением. А если – нет? Тому же молодому и родному мне человеку машину, на которой нам и ехать, покупали, я ему говорю: благословение я взял. Он, иронично: а если бы не взял, так что? Он православие так понимает – я, говорит, признаю, но не до фанатизма, не как ты. Отвечаю: если б не было благословения, мою бы долю на твою машину ты бы из моих рук не получил. Задумался он, о степени фанатизма моего задумался, видимо.

Взял я благословение на нашу поездку в другую область, и перед самым выездом машина ломается, серьезной поломкой – двигатель. Нет пути. А я Бога благодарю. Благословение – есть, значит, благодатью закон отменен, значит, – лучше не ехать. Не едем. Отремонтировали машину. Вновь собрались. Едем. Перед постом гаи на выезде из города он мне говорит: стекло открой боковое – тонировка у меня. Тонировку он недавно сделал. И как только я узнал об этом – первая мысль, даже видение прямо, картинка: поворот на выезде из Сернура – это городок, через который нам ехать, на самых последних стадиях нашего пути – и нас останавливают из-за тонировки как раз. На выезде из Сернура поста нет, а просто машина гаи и инспекторы стоят обычно – обычно, я в былые годы раз в год ездил, а последнее время лет пять не был, вот и – обычно. Будут они, не будут, но картинка была. Едем без происшествий. Сернур. Можно по объездной дороге, а можно через город, так и так на нужный поворот попадаешь. И вот я говорю: давай по объездной, а водитель, родной мой,

через город хотел, но – послушался. Подъезжаем по объездной к перекрестку. Стоят! А солнце закатное прямо на нас, и инспектор издалека уже и присесть, и голову склонять, и рукой, как козырьком, глаза прикрывать. Дошло до меня – тонировка. Давай я ручку на дверце крутить, стекло опускать – поздно. Штраф. Дело в другом. Обычно, – обычно – если и стоит машина гаи, то стоит она на той стороне перекрестка – то есть, что по объездной, что из города, все равно поворачивать и – прямо в лапы. Но это обычно, а в этот раз – они стояли в конце объездной перед перекрестком, то есть если бы мы через город поехали, то свернули бы гораздо ниже поста. И стекло с моей стороны было поднято, забыл опустить, вылетело из головы, по моему стеклу нас и заметили. Как еще предупреждать меня? Ведь только услышал я: «тонировка», как всплыло в голове: «Сернур». И что?

Благодарил Бога. Съездили без происшествий и вернулись. В пятницу выехали, в субботу вернулись. Воскресение еще прожил я. Утром в понедельник иду на работу. Думаю, зарплаты в пятницу на карте не было – утром проверял, сегодня точно должна быть. Глянул в бумажник – где карта. Нет – карты. Вот тут бы первой мыслью благодарить Бога. Забыл. Себя ругал. Прокручивал в мозгу – где карта? И было беспощадно ясно – карта осталась в пятницу утром в банкомате. И в пятницу же на нее должны были перечислить зарплату – не велики деньги, но других-то нет, на полмесяца до аванса, я – на зарплату и живу. Была и еще мысль: вот тебе и съездили без происшествий. Не бывает ничего в жизни бесплатно, не бывает. Кое-как выгнал эту мысль из себя, молитвой заглушил. Ехал на работу, немно-

го пришел в себя, читал благодарственные молитвы: Тебя Бога хвалим, Тебя Господа исповедуем.

Зашел в магазин, где банкомат стоит, где карту оставил – не находили. Пошел в банк вместо работы, хоть заблокировать карту, хоть и после времени. Заблокировал, говорю оператору на всякий случай: я карту там-то и там-то оставил, может в банк передавали. Она: узнаю сейчас. Долго ее не было. Вернулась: есть информация, что банкомат, именно этот, какую-то карту захватил, может и Ваша. Банкомат представился мне добрым разумным существом, который захватил карту, радуется, хозяевам сообщает: вот, карту захватил. А вообще я этот банкомат не любил. Вот есть деньги на карте, набрал сумму. А он мне пишет на окошке своем: в данный момент транзакция невозможна. Хорошо. Невозможна твоя транзакция, так и не надо, ты мне деньги давай. Не дает. Но после этого случая я банкомат уважать стал. Работает все-таки, дело свое знает. Карта моя оказалась, и деньги целые все. Но дело не в этом. А в том, что снился мне месяца за два до этой потери сон: я у банкомата, и отхожу, деньги не получив, а за спиной моей некто сумнящийся с искаженным лицом, скалится и карту мою забирает. С месяц я у банкомата очень внимателен был. Но вот перед поездкой о поездке только и думал.

Сбылся сон? Но карту банкомат забрал, а лицо у него, у банкомата, правильное, геометрически четкое лицо и контуры тоже.

Шарахнуло меня или нет? Спрашиваю себя. Раз спрашиваю – значит, не шарахнуло. Но – могло? Могло.

Так каков же все-таки ответ человека миру? Один ответ: за все благодари Бога. За все. Батюшка мне проще сказал: будь всем доволен. Я не понял: радоваться, что ли?

– Радоваться? Сможешь ли? Просто будь всем доволен.

Да это просто – что бы с тобой ни происходило, будь всем доволен. Не разбирай события на хорошее и плохое, ты этого не знаешь и оценить не можешь, потому что полная картина дня мира, которую и твои личные дела дополняют, тебе не ведома. И секундное «хорошо» в твоём понимании в следующую секунду приведет к такому «плохо», что – ужас. Но как раз это худшее-худшего «плохо» и спасает тебя или близких твоих от смерти. Но ты этого не знаешь и не узнаешь. Поэтому не ребячься, не впадай в детство, просто – Благодарю Бога за все.

Будь всем доволен – это практика спасения.

Летит хлеб маслом вниз – Слава Богу за все. Наш ответ кажущемуся хаосу мира – действительная благодарность Богу. Тогда и Господу проще с нами будет. Будем верить в Него. И не надо тогда Творцу мира, Вседержителю вселенной, наш хлеб с маслом подхватывать, только потому что мы уже этого падения перенести не сможем, а враг нам не перенести поможет.

А ноги я, кстати, не промочил тогда, в майский дождь после ливня. Почти до работы дошел. Надо дорогу переходить, и широким потоком от бордюра – прямо речушка мутная на треть дороги. Примерился, думаю, прыгну на одну ногу, на пятку – оттолкнусь, а вторым шагом уж на сухое. Был бы в ботинках, вообще не вопрос, но в сандалиях пятки нет – моя там пятка открытая. Так и прыгнул на пятку. Сажу на работе – пятку больно, а нога – сухая. А по всем законам, и не по подлости даже, а по элементарной физике, иначе должно быть было. Значит, не главный он, закон этот, и остальные тоже не главные.

Дописал я этот рассказ. Название поменял в конце письма. Сначала он – подлость закона – назывался. Нет – много будет – закону и его подлости – чести в заголовке торчать. И по сути неверно. Не о законе же, не о подлости речь. Дописал. И в этот день, вернее, вечер выхожу с работы. И вот всегда. Работа до полшестого, выйдешь, и прямо из-под носа троллейбус уходит. Я пробовал на минуту, две, три раньше выходить, хотя у нас и проходная электронная. И вот как ни выходил – троллейбус уходит из-под носа. Словно не я его уловить пытаюсь. А он под мои уловки подстраивается. Дописал я рассказ, не на работе, естественно. На работе я другое пишу, просто в этот же день. Выхожу в этот вечер с работы. Не к троллейбусу же примериваюсь, вообще не до этого. Троллейбус, естественно, как и положено – из-под носа уходит. Но я-то осмыслил уже все. Поэтому не просто доволен, а радостно даже говорю: Слава Богу. И крестное знамение, троеперстием осеняю – лоб, живот, правое плечо, левое. Раньше стеснялся на улице крестное знаменье совершать, потом выздоровел: Бога надо стесняться, а мы все перед людьми вид делаем. Нет троллейбуса – подождем. Велика важность. И только подхожу на остановку, буквально еще и след ушедшего троллейбуса не простыл, а уже следующий троллейбус, прямо под ноги мне. И двери распахивает с радостным хлопаньем: садись, мол, поехали!

Хотя троллейбусы у нас в Вятке по закону, то есть по расписанию, никогда не ходили и ходить не будут – нет им закона. Может, город такой?

3. Не ангел же...

Готовился к Литургии в субботу. И вечером в пятницу – опять не смог на службу пойти, а надо было. Исповедь на Вечерне – Милость Божия. На Литургию идешь утром, только Литургия и есть – в сердце, ожидание. А когда без исповеди, то только и думаешь – как к исповеди, как успеть, как очередь занять. Ни покаяния настоящего, ни радости преддверия, – суетное одно. Вот это мельтешение внутри и есть сущность твоя, настоящее твое. Сколько ни твердил себе, а внутри мельтешило и мельтешило.

Решил с вечера: готовиться буду к исповеди и ко причастию, а там – как Господь. Все равно – не достоин. Не допустит Господь, и поделом. Мое дело – подготовиться. Поел, правда, сначала. Долго сидел перед пустой рюмкой. Колебался. Мельтешил. Потом – мелькнуло: все равно не получится ко причастию. Тут же и – выпил. Стало – легко и гадко.

И как было перед иконами стоять? Но стоял. Тащил себя через молитвы трех канонов к последованию. И вопил внутренне: Боже, милостив буди. Искренне вопил. Извальявшись-то «яко свинья во калу» – как бы еще не искренне, оттуда? И голова вдруг включилась, засвербило в мозгу, в разные стороны, словно огромными, острыми и тупыми одновременно крючьями, потянуло под черепом. Вопль не оставил, и строки не потерял. Еще и добавил себе – каким только голосом – не достоин. Не достоин. Даже рад был этой боли. По заслугам, поделом тебе, негоднику, – какими руками, сердцем каким? – за молитвы взялся. Боль выровнялась до терпимой, ровной – настоя-

щей, как воздаяние, и вытеснила гадкость изнутри, из существа. Настоящая боль стала в нем началом настоящего, стала почвой. Почвой, на которой перед Господом можно было стоять. Он за две недели – забыл, как это. Буквально – встал вдруг на ноги. А до этого две недели что было? Но осмыслять не мог, молитву надо было держать поверх боли. Держать было невозможно. Но и отложить молитвослов было выше его сил. Не только последование, еще и два акафиста по благословению батюшки. И казалось уже, что не он читает, не сам. Перекрестился, до точки дойдя, – отчетливо осознав: недостойн, как и дерзнул помыслить даже о Причастии? Вычитал, Слава Богу, все – к исповеди хоть достойно подойти. А о причастии – безумный – не смей даже. Молитвой, покаянным псалмом начал загонять себя в сон. Боль осталась. Так и была до утра – настоящая, держала поверх зыбкого, как предрассветный щелок, всю ночь сочившийся в окна, забытья, остро нашпигованного пронзительными холодными иглами страха событий, которые не произошли, хотя неизбежно должны были произойти, именно в минувшие от Пасхи две недели.

В Пасху во всем мире торжествовала жизнь. И не просто жизнь, а жизнь как победа над смертью. И было похоже, что за свое всеобщее поражение смерть решила отыграться лично на нем. Думал: у людей Пасха, у меня сад Гефсиманский. Душа скорбит смертельно. Ему предстояло победить смерть. Один на один, как он думал, победить. И это было невозможно. Не поддавалось решению. Болезнь, мелкая простудная, склизкая, еще подоспела вовремя. Записал в дневнике: водка – полоскаю горло и глотаю, легче – и там, и там.

Он всегда знал, что Евангелие – это его именно собственная жизнь. Знал, но не верил, потому что – не видел. Увидел. Невозможное человекам возможно Богу. От этих двух недель дней осталось ощущение собственного непрерывного бега, когда от тебя требуется только – бежать. И – бежать. Высунув язык, задыхаясь – бежать. Он – бежал. И – это было все. Но это не было – колесо. Это не было – белка в колесе. Так сначала казалось ему. Этот изначально безнадежный бег вдруг начал вырастать за его спиной верстовыми столбами разрешенных дел. Он не оглядывался, он – бежал. На это уходили все силы. Но он чувствовал за спиной смысл происходившего с ним. Чувствовал, что оставляет за собой – дорогу из ада.

Но даже и сам бег не был его бегом. Он самостоятельно только перебирал ногами. Можно сказать, «дрыгал ногами» по-детски, как малыш, когда несут его «подмышки». Удивительно и страшно – Господь взял его и просто вынес из ада.

Говорил, благодарю Тебя, Господи, и другие безумные слова. Никогда не мог понять это место в Евангелии. Фарисей и мытарь. Бога благодарить надо. Как иначе? Почему тогда – безумные? Понял и это. Благодарить Бога – надо. Но надо иметь достоинство для того, чтобы благодарить Бога. Достоинство благодарить Бога. Когда нет достоинства, любые другие слова, кроме – Боже, милостив буди мне грешному – безумны.

И всю эту выходную из ада Не-делю слова благодарности и не шли на ум, а звучало только внутри – Милостив буди. Помимо него самого звучало. Звучало и все, как дыхание, как пульс.

И еще – уцепился за водку, вроде как от болезни поначалу, горло полоскать. Горло, – по полбутылки за вечер. Это первые два-три дня. Потом уменьшил, конечно, рюмки две, полторы. В пределах ста грамм, но ежедневно. Но как опьянение водку он не чувствовал. Страх размывал в себе водкой. Земной страх – страх перед невозможностью выжить. И при этом понимал – делает явно не то. И вместо помощи Господу в решении своих дел сам умудряется противостоять Ему. Быть вместе с Ним – в молитве. Он и молился. Несколько лет – Правило стало правилом. Вечерним. Утренним. Совсем недавно добавил еще и главу Евангелия, две главы из Деяний святых апостолов и один псалом из Псалтири. И пока удерживал это, хотя бы только количеством, только внешне. Читал и считал. Держал счет. А большего – сердцем читать, не вмещал. Молился и тут же пил. Скулил Господу и пил все равно.

Давила в спину внешняя тьма. Но в спину – только в спину. Вынесен был уже из ада Светлой Седмицей. И остался только многозаботный быт – словно в отместку, что от главного был спасен, навалилось вдесятеро обычное жизненное суетное. Рюмка-две и словно дыхание переводил. И каждый раз убеждал себя – не буду. Но садился за ужин и – рюмка-две-полторы.

Ужас и чудо двух прожитых недель, неотвратимый свет в окна, боль – все вместе...

На Литургию рано пришел за час. Стоял читал последование. Но батюшка исповедать не вышел. Он батюшку увидел в северном входе в алтарь, но замешкался, а когда кинулся – Ангел только на двери входа встретил его.

Внезапно и очень сдержанно, – так первый пламень легко пробегает по дереву, лишь касаясь его, – занялась Ли-

тургия. Золотое позвякивание кадила, тихо лиясь, прошло по краю пространств, полонило весь внутренний мир сухим сенным ароматом света и цвета, порадовалось о каждой иконе. И первый легкий пламень принял за это время, стал огоньком в бесконечной теснине мира, почувствовал тягу вселенной, проникся вселенной, потянулся к вселенной, все плотней и ярче, обретая намерение и стать – стать со вселенной вровень.

И вместе с огоньком, в самом человеческом нутре, утробе что ли, вдруг опустело настолько, что потянуло туда внутрь, как в вакуум, и кости плеч, и сердца колена, и слух, и зрение в жажду одну невозможную-можную – причастия. И если – нет, то – втянет в жажду всего и не жить будет, ничего не будет. Все это помимо него осуществлялось в нем. А он – потерял Литургию. Разделился в себе. Изболевший за ночь мозг словно бичевал, протягивая по сове-сти острыми и тупыми одновременно жалами – недостойн. А немысленное возгоняло жажду в чувственно непостижимую, не совместимую с бытием меру. Возможность причастия стала существом и смыслом всей жизни. Словно самой жизни осталось до причастия или не до причастия. И вот это – «не до» – было страшнее и этих минут жизни, страшнее той смерти, которую он воочию спиной чувствовал в притворе среди оглашенных, притворно согбенную, страшнее – не было уже ничего для него страшнее ни на Земле, ни, что еще страшнее, на Небе. Но он уже не сознавал этого, не сознавал ничего. Мерно, величественно волновалась Золотому Солнцу высокая, высоченная, высочайшая над людьми Золотая Нива и он был в Ней. И золото-небесное плыло в глазах, и сердце наполнилось готовностью разорваться, соприкоснув в себе счастье и горе. Сейчас – в

шаге, «не до», пройдет Христос, а я – не увижу?!

Господи! Псам, псам-то крохи. Ведь и псам – со стола крохи. Крохи ли просишь, иуда? – гнул окостеневшую выю вопросом мозг. И хрустело, и квадратики мраморного пола вдруг начинали уходить из-под ног, вцеплялся, как в посах, как в простертую нижнюю ветвь Древа Жизни – в слова: но яко разбойник исповедаю Тебя.

Диакон был огромен в высоту, облачен колокольно, пурпур и золото, Пасхально надмирен, на солее как на облаце, а еще и правую длань возносил и – страшно подумать – Самому Богу глаголил. Служил Богу.

«И как же это раскрылись нечестивейшие мои уста, как же это вышевелил грешнейший мой язык: «Отче диакон, попросите батюшку выйти, исповедать», – всю оставшуюся жизнь он спрашивал себя, и так и не нашел ответа.

Диакон глянул вниз черными, круглыми, ледяными от высоты зрачками, даже мускул не дрогнул у век, но – слышал, видел. Так слышат и видят летящих в пропасть. Так смотрят на них.

У самого дна, будто за миг до того, как стать вязким шлепком, удержался взглядом за большой серебряный Крест. – Батюшка вышел из алтаря, Крест перед собой держал на вытянутой руке. И удержал его, падающего, Крестом. К исповеди.

– Кайся, – требовательно прозвучало над его склоненной головой.

И тут он с ужасом понял, что в жажде невозможной возможности исповеди потерял покаяние. Немота. Страшный миг. Он вспомнил то, что готовил к исповеди. Но рот был нем, молчала гортань, не шевелился язык. Нам кажется – мы управляем своим телом. Говорим пальцу – шевель-

нись – и шевелится, ноге – ступай, и – ступает. Это до тех только пор, пока нам дана власть над нашим – своим собственным – телом. Не мы властны над своим телом, а нам до поры дана власть над ним. И только-то! До поры. До какой поры – это воля Божия. Вот где начало Божьего страха. Только мы не задумываемся об этом. И вдруг рука не двигается, и рот на замке. Тогда и поймешь – Кто Хозяин телу твоему. Евангелие просто говорит – не можешь сделать ни одного волоса своего белым или черным. А Кто может? Тот и есть Хозяин тела твоего. Но мы буквально не понимаем, иносказание, думаем. Прямосказание это мелькнуло в нем вмиг, одновременно с – Господи, помилуй, – и речь возвратилась.

– В Храм я не успевал ходить. Многозаботность. Все быт у меня.

– Не с того начинаешь, – голос был внятен и строг. – Гордыня – есть?

Собравшийся было, пусть и в разрозненный – порядок, строй исповеди рассыпался вновь. Он лихорадочно исчислил прожитое, смог произнести:

– Есть, наверное, я даже как-то не думал. Водка у меня больше. Понемногу, но каждый день – рюмку-две вечером пью.

– Смотри. Так алкоголиками и становятся. Кайся.

И, взятый неведомым ровным течением, он заговорил в нем, и чудом был вынесен под горизонт епитрахили.

Совершилось.

Это было последнее из осознаваемого. Дальше все было словно действительно за горизонтом возможного человеком восприятия.

Вновь была жизнь. Слова благодарственных молитв читал в изумлении. Последнее, что запомнил – епитрахиль. Но вокруг был другой мир, не тот, из которого он ушел под епитрахиль. В этом нынешнем мире – не было смерти. Не было ни в притворе, ни на паперти, нигде – не было смерти. Во всей необъятной тесноте вселенной не было смерти.

И оттуда раздышалось, разъяснилось. И бутылка, початая, но – больше половины, там за спиной осталась, в холодильнике.

Пошлось самостоятельно. Ноги почувствовал свои собственные, боль в ступнях, камушек – мелкий, но противный – все мешался в ботинке правом. Споткнулся раз, чуть лоб не расшиб, еле на ногах удержался. Обычная, в общем, дорога – Путь. Одно только понять не мог – непривычно идти. Словно ходить разучился. Но две недели – где был? Так же ведь шел, бежал даже? Почему ни себя, ни дороги не чувствовал?

Время появилось, стал в храм ходить – Вечерня. Утренняя.

Что же было с ним?

Еще через две недели вновь стал готовиться к Исповеди.

И – первое – дерзость свою исповедать. Дерзнул – отца диакона от Службы Богу оторвать, батюшку от Службы Богу вызвать. Гордыня? Это ли не гордыня? Какое достоинство имеешь – чтобы вот так к диакону, к батюшке?

Он потом с недоумением, с искренним непониманием смотрел во время служб на этого высокого диакона. Есть и другой отец диакон в храме. Невысокий, волосы светлые, чуть вьющиеся. Глаза темные, глубокие, пристальные. Но сам он и улыбнуться может, и посмотреть приветливо. И даже чуть поклониться тебе, когда храм с кадиллом обходит. Но даже и с ним заговорить – как-то в голову не при-

ходит. Они, диаконы, словно и вне службы хранят в себе особую статью, как офицеры выправку. Так вот обратиться, даже просто обратиться, к высокому диакону не получалось и в мыслях. Он смотрел на него служащего и думал. Вот я говорю ему: отец диакон. Нет, не складывалось. Сразу все костерилось внутри. Обратиться к этому диакону – было не возможно, для него – невозможно. Диакон и вне службы оставался надмирным, внемирным, неприступным. Он и смотрел ровно, всегда – выше голов, всегда – прямо, словно вычерчен однажды и навсегда как линии Креста. Не мог я к нему обратиться – это было ясно как день. Но диакон – непонятно, но все-таки полбеде, полдерзости. А вот батюшку «требовать» – исповедай! Оставалось гореть стыдом, со стыда и в стыде. Видели тебя. Вот и стой смиренно – твердил же себе накануне – не достоин. Смиловитесь Господь – выйдет батюшка, исповедает. Не выйдет – значит, нет Божией воли к твоему причастию. От тебя – только смирение да готовность к покаянию. И что было – где смирение? Дерзость одна. И вместо покаяния – лепет. И – допустил Господь. Допустил до причащения. Как воздать теперь? Как отблагодарить? – Покаянием только. Искренним покаянием.

Так бы просто оно все было – покаянием. Покаяния – нет во мне. Вот единственная правда. Все остальное твое – ложь твоя. Искренним покаянием – грех испепеляется без остатка, и – нет греха. А я?

Господи, – каждый рассвет, еще вперед учеников Твоих разбегаюсь я из Гефсиманского сада, улелетываю, и только ветер свистит в душе. К вечеру, к ночи, плачу от Стыда и Страха. Юлю глазами и существом своим по вечернему правилу. И Ты – вновь прощаешь. И вновь – рассвет,

и сонм моих грехов – к Тебе – с мечами и кольями. И Ты спрашиваешь меня – друг, для чего ты – вновь – пришел? И мне нечего ответить Тебе. Ибо – всегда иду к Тебе, а прихожу и оказывается всегда, пришел взять Тебя – за Тобой пришел с мечами и кольями.

Путь к покаянию ответственной вечерними службами. Особенно когда в нижнем храме службы, особенно вечерние. Уходишь крутыми вниз ступенями ниже горизонта земного и – все, нет больше мира. Тесно и низко, как в катакомбах, в пещерах. Первозданная мощь перекрытий, стен, сводов. Но вся тяжесть мира – так и чувствуешь – на них и лежит, держится. А плечи твои наконец-то легки, свободны. Но не бездумной свободой, ибо вот руку протяни вверх – свод, и губами приложишься к иконе и лбом прижмись – чувствуешь – в земной шар уперся, чувствуешь – одновременно – как неуклюже с натугой переваливает он тяжесть свою вокруг собственной оси и сам, вместе с осью своей, ползет тяжеленный, как на привязи Солнца, вокруг. Православные храмы на месте стоят, по местам стоят – не привязи – якоря – якоря вселенной – православными якорями храмов Земля за Солнце зацеплена. Плоть земная в осевом вращении растесняется вдоль, обжимает их, обтекает нехотя. Здесь нет мира, нет осевого вращения земли, поэтому – нет времени, нет пространства. Есть движение вокруг Солнца. Но это – вокруг – круг. Можно считать круги, а можно и не считать. Кто как хочет. Это все равно ничего не меняет. Все это – чувствуешь в нижнем храме. Но храм это все несет и держит. А ты, если можешь, – молись. Ничто не мешает. На общей исповеди правда звучала с амвона: на Службе стоим – а сами по магазинам ходим в это время, ужин готовим. Он поразился тогда – откуда же

батюшка так про него знает. Точно – чуть отвлекся уже, и не просто покупки перебираешь, а мысленно по магазину идешь, вот хлеб, вот пельмешки, вот – сыру взвесить, сколько? Двести грамм или триста взять? – и все это в мельчайших подробностях, с лицами продавщиц, и грудки и бедра куриные перебираешь в мозгу. Пока не обрушится свет в храме, сам рухнешь во тьму внешнюю, из магазина своего в шестопсалмие. Сами мы в храме – как якоря быта. Служба мимо нас течет, а мы – покупаем и продаем, продаем и покупаем.

Православные сказали ему как-то: каждый вечер на службу ходишь, уж не фарисейство ли это? Фарисейство! – радовался он, – фарисейство и есть мое. Тем и оправдаюсь. Не здоровые имеют нужду, но больные. А где и недужнее, как не в фарисействе? Значит мне храм и показан, как больница моя. Господи, Госпиталь Твой, Храм мне, фарисеюшке, игольное ушко. А пускает Господь – как в пещерку Иова Почаевского – туда – запросто, а обратно никак. Мытарем проще. У мытаря свой Господу ответ. А мне, фарисею, без храма никак.

Не успел укрепиться в фарисействе своем, как услышал на проповеди, словно для него специально. «Нет, братья и сестры, – мы не фарисеи, мы даже не фарисеи – фарисей закон знал, Писание изучал, пост соблюдал, а – мы?»

Вот и на Службах вечерних пошел он теперь не по магазинам. А по тем двум неделям своим. Которые вели его к исповеди, ко причастию – дерзновенному, как никогда в жизни. И надо было понять это все, покаяться Господу и исповедать Господу, через Служителя Его, через Батюшку.

Батюшка, отец, отче. О, Православное наше Священство, русские наши батюшки, овцам – отцы, и Агнцу – слу-

жители. От Крещения Руси и до дня сегодняшнего, и до скончания века – батюшки, Господу служители, прихожанам отцы. Были князья и прошли князья, дворянство было и кануло, купечество было – и нет купечества, и ремесленники были и нет им места, крестьянство русское было – и на Крест взошло, хотя дольше всех держалось, и его заглушили, заушили, – да будет распят – полонены поля русские разнотравьем душистым и безлюдны – редко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть. А православная нива все жива, и жатвы много, и делатели есть. Все тот же православный батюшка, батюшка выходит и выходит из алтаря исповедь принимать, и тысячу лет, и сейчас, и до скончания века. И на Вечерне выйдет, и на Утрени, и на Последнем часе, и на Литургии – и сегодня, и через сто лет, и через тысячу – окинёт взглядом строгим склоненные головы прихожан, на аналой раскладной положит бережно Крест и Евангелие.

– Кайся.

Тем и жива Россия, Отечество. Отечества отцы – православные наши батюшки. Сколько хулы и суда неправедного остервенелого понесли вы? За глаза, за спиной, за оградой – как и кто не склонял, не злословил вас. Нет греха, которого не приписали бы вам, нет и слова злого, вам в спину, а то и в лицо прямо не брошенного. На Камне сем. Как преподобный батюшка Серафим Саровский, утвердились вы на Камне Исповедания Веры Православной, стали – и есть – глава угла Храма Христова. А тем же углом и земное Отечество зиждется – тем и живо, тем и – Россия. И хвалу, и хулу равно принимая, стоите на страже, на границе Небесного Отечества. Сколько крови вашей на этой границе пролито. И потом кровавым, и слезами кровавыми,

но – больше неизмеримо – живой крови вашей за Христа пролитой – не граница, а – море Чермное. И молитва яко посох – прости им, Отче, ибо не ведают, что творят и – яко посуху пешешествовав в Царствие Небесное, а на границе новое уже поколение батюшек русских стоит, Служит Богу.

Также море, необъятное, немысленное, море грехов человеческих властью, от Бога вам данной, покрываете золотой некогда, но истертой до белизны боли, епитрахилью и яко посуху из-под вашей епитрахили Русь идет ко Христу и тысячу лет, и сто лет, и всегда, и сего дня, и на этом Пути становится Народом и Россией становится.

Батюшки наши православные, всечестные отцы, не земным бы вам поклониться поклоном, а неземным, небесным. Да, по грехам моим не обучен поклону такому. И слез не имею от жестокосердия своего.

Подвиг? Да, ваш Труд Христу – это Подвиг. Но как неуместны земные слова Небесному сиянию Славы Христовой, осиевающей православное священство России. Тишина и Сияние. И – Любовь.

– Кайся, – Небо снова разверзлось над ним, и се: невидимо Христос предстоит между нами.

Был он на этот раз готов и ждал, сердцем взыскивал требовательное это «кайся!».

К исповеди на этот раз он готовился осмысленно, тщательно, по порядку. Помогали Службы. И многозаботность утратила неподъемную тяжесть, стала обычными заботами будней. И Крест. Собственный его Крест, от Бога данный именно ему. Крест тоже вдруг стал не то что легче, не то чтобы тяжесть утратил, но стал как-то естественен на плечах, стал по силам. Он и раньше был по силам, но на каком-то крайнем пределе его челове-

ческих сил. Он именно тащил Крест, и это было всей его жизнью, всей сосредоточенностью его – тащить Крест. И в Храм входил как на передышку. На службах было легче, словно ставил Крест рядом, ко крестчатому столпу и молился, и плечи отдыхали. Просил – сил, и силы давались ему. Ровно столько, чтобы не рухнуть под Крестом, не распластаться под Ним. Он тащил Крест с натугой, со скрежетом зубным, сквозь внешнюю тьму, которой не видел, как не видел и свет. Вся простая пятерица его чувствований была сосредоточена на тяготе Креста. На тяготе несения Креста. Но зато на Литургии, удостоенный причастия, он подходил к целованию Креста не как посторонний, случайный человек, но как работник последнего, может, часа – чуть-чуть, но потрудившийся все-таки, – работник вот этого именно золотого сияющего Креста. И, может, от того глазам так и лучило до слез светлых сияние золотое и душе так радовалось в отчей купели Вселенского Православия, от того, может, что и плечи знали этот именно Крест, помнили Его. И готовы были вновь принять, после целования сразу. С радостью принять, с благодарностью. Не моя, но Твоя Воля да будет. И еще Богородице молился: не попускай Пречистая воли моей совершиться не угодна бо есть, но да будет Воля Сына Твоего и Бога моего. Благодаря этому и шел. Радовался.

И от тех дней – когда: душа скорбит смертельно, вдруг начал плечами чувствовать сияние Креста. Да такое сияние, что сила сияния достигала земли и на землю опиралась, не на плечи. А плечам, как глазам на Литургии, вдруг стало внятно и сияние, и радость, и ничего больше. Это было потрясающее все его человеческое существо,

просвещающее, вернее. И чтоб не напугался поначалу, попривык – дана была многозаботность – мнимая отвлекающая тяжесть.

Сейчас пришло время осознавать все произошедшее с ним. И он осознавал. Со страхом Божиим осознавал. Ибо живо было еще воспоминание о ноше. И, вдруг, секунда и вновь вернется? Вернется? – Смерть может вернуться?

Воскресение. Это Победа над Смертью. Но сначала надо – умереть. Воскресение Христова видевшие – и он был среди них, и видел – видели и смерть Его. Не рыдай мене, Мати, зрящи во гробе. А как не рыдать было? Выстояли Чин Погребения. Шли за Плащаницей, за батюшками. Христа хоронили. Слова не вмещают. Сознание человеческое не вмещает. Церковь Христова одна Она вместила – Событие Смерти Христа. Церковь вместила, как Храм Плащаницу вмещает. А мы – разделили с Церковью.

Просто надо было умереть, чтобы потом Воскреснуть, просто. Просто. Жизнь человеческая Смерть Христа может вместить, а собственную смерть человеческую не вмещает. Смерть и Воскресение. Для человека – это слишком просто. Это слишком просто. Слишком – это как раз настолько, насколько человека сознание до Евангелия не достигает. – Слишком не достигает. Поэтому человеку чем сложнее, тем понятнее.

Он для себя второе дыхание придумал. Вернее, само оно открылось – второе дыхание. На самом деле это воскресение и было – из мертвых, печати не руша. То есть жизнь внешняя, она как была, так и есть, такой и осталась, а человека в ней нет, вернее, человек есть – но не мертвый, – живой.

Второе дыхание, он его пережил неожиданно и буднично как-то, без серьезного повода. Учился на первом курсе института. Институт был стальной, факультет цветных металлов, а специальность – обогащение, не собственное, конечно, – полезных ископаемых. Весна уже, дожди, а его послали за факультет бежать на лыжах. По вятскому снеговому раздолью тренированный, он в привычной «троечке» километров – сложностей не видел, хоть по слякоти московской, хоть по асфальту – проползем. Объявили: девушки пять, юноши – десять. В Вятке так это и называлось – умереть на дистанции, он и – умер. В глазах темно и радужно, искры вспыхивают красиво, все тело – огромный сырой, как вата, пропитанная свинцом, ком, в груди колготятся когти, выпихивая наружу, через сведенную гортань, сип, хлип, и скребут обратно взамен – воздуха, воздуха, а его, воздуха, нет во вне. И ничего нет во вне. И сердцем глотка заткнута, и все больше сердце в глотке, все больше. И когти. И – легкий свежий воздух потек вдруг по всей поверхности тела, по всей коже, даже под ступнями, словно полотно свежее, чистое, легкое, душистое просторно окружило его. Не ком свинцовый уже, а тело свое – от Бога данное – именно так и почувствовал, что тело от Бога – и все тело почувствовал до каждой клеточки, ноготочка мизинчика. И все тело было молодое, послушное, сильное. А как дышало оно глубоко и ровно и вдыхало кислород чистый, озон как после дождя, а дождь и лил, корку снега дырявил, шершавил, так что ничего удивительного – озон, была же молния, в глазах разорвалась прямо перед этим. Он бежал. Налипший снег почему-то осыпался с лыж, они скользили, летели по лыжне, палками работалось четко и упруго. Такая радость была лететь и лететь по лыжне. И неожиданный и ненужный финиш. Зачем?

Всю жизнь он помнил это событие второго дыхания. И совсем недавно Великим постом вновь пережил это событие, но иначе. Шел четвертый канон.

Великий Покаянный канон святого Андрея Критского, читаемый первые четыре дня великого поста. Строгие дни. Он научился обходиться почти без еды. С куревом только поделаться ничего не мог. Научился, но все равно считал дни до пятницы, в пятницу после Литургии – раздача колива – это варенный рис с изюмом и медом. До этого старался вареное не есть и горячее не пить. Но дни считал. Первый – еще три осталось. И канон – коленопреклоненный. И почти сразу начинало ломить колени и спину, было жарко и душно, и пот тек по спине, по хребту, на котором оралли вожди всех страстей, холодной почему-то струйкой. На третьей-четвертой песне канона становилось невольно. Терпел. Считал песни как дни. Был и рубеж. После шестой песни высокий голос над пространством храма требовал, изымая, казалось, твою собственную душу в высокие ладони, требовал ответа: Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаша смутитися, воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый, и вся исполняяй. Особенно это «воспряни» взмывало стремительно под самый купол с душой твоей вместе, и дух захватывало у тела, в солнечном сплетении утробы. Отсюда оставалось три песни до девятой. Терпел.

В этот пост на четвертом каноне не осталось в нем ни жизни, ни смерти, одно терпение вместо того и другого. Тем и терпел только, что завершающий канон. Выдюжить и – все. Невыдюживалось. На второй песне – чтобы и могло быть, если ни жив, ни мертв уже? – было. Это, наверное, коснулась его миллионная, миллиардная доля тех мук,

которые вечные – в которых движения нет – и не там и не там – миг такой страшен, а вечность – такая? Он со второй песни и попал в эту сырую тяготящую резину, брюхастой мухой елозя в преползновении. Невозможно было, и терпением уже не бралось. Вцепился в покаяние, в слова канона и за них держался, отцепись – и уже не вернешься обратно. Но и слова начинали протягиваться, уходить, резина держала, жрала вязко. И вдруг в песне третьей – он счет уже потерял, – верно, вдруг отпустило сначала, а потом – вознесло. И как тогда, в юности, окутало – радостным, и молодым, и свежим. И канон вдруг зазвучал, всем человеческим существом его став, он сам стал словами канона. Не батюшка – читал, слово прежде голоса внешнего рождалось в человеке и лишь укреплялось произносимым словом. Он жил каноном, переживал его событиями собственной жизни, которые вдруг стали ясны и понятны как на ладони, как душа на ладони, и видно было много какой-то страшной нечистоты, грязи, и под словами канона нечистое ежилось, сохло, чадило и исчезало, исчезало, оставляя сажу, хлопья, черные хлопья сажи.

Второе дыхание. Он поэтом назвал себе это вторым вторым дыханием, словно сначала тело пережило, а потом через десятилетия и до души дошла очередь. – Воспрями!

После этого и жить-то стало как-то странно, неуместно, непривычно. Легко стало – жить. А шел Великий пост. А он радовался. Жил и радовался. И то что случилось с его жизнью в Пасху, это было не обрушение жизни, это было разрушение смерти. Был один бастион смерти, который он полжизни своей взять не мог. И отдал его в волю Божию. А сам терпел только его существование. Вот как во время канона – также терпел. Этот бастион и был разрушен в

Пасху. И, конечно, удержать надо было – всю жизнь, одна из несущих – не сущих – смерть, то и есть, – исчезла, и – мир пошатнулся, посыпался, казалось. Вот и подставил он плечи жизни, вот и стал собирать жизнь в новый предел, без смерти уже.

Готов был к исповеди на этот раз. Смиренно текла Вечерня. Нежно занялась Утренняя. Развиднелось в душе на Последнем часе. Тогда и он притек очередью к покаянию.

Вспоминал потом исповедь. Содержание вспоминал слов произнесенных. Саму исповедь нельзя вспомнить. Вот идет Иордан, течением идет, легко, ровно. Вдруг встал. Вдруг вспять пошел. Как это пережить Иордану? Пережил. Миг краткий, вечности равный. Вновь идет по-прежнему. Скажи ему, – «вспомни»? Как это? Так и исповедь. Пережить можно. А вспомнить – как это? Содержание – тело реки, тело жизни, оно всегда с тобой – и вспоминать нечего, вот же – оно, содержание.

Никак он не мог приучить себя только одни грехи на исповеди называть. Каяться и – ничего более. Все остальное Господу известно. Нет, ему еще разъяснить надо было бабюшке причины и первопричины, и попричитать еще – да как же это со мной, да сам я не знаю, как случилось, да что за напасть. Грех называй – и кайся. Он пробовал так. И словно пустота разверзалась под ним, пропасть – так уютно было и хотелось словами – как мостком над пропастью этой пробежать. И удержаться от слов сил не было. Он пробовал – так. Останешься на краю этом. Новый грех назовешь, а пропасть под тобой шире еще и глубже уже и до ужаса уже. Страх Божий.

Не удержался и сейчас. Мостить начал, Покаяние мизерное свое ложью мысленной перебивая. Дерзость моя,

батюшка – Вас позвать из Алтаря. Да, не знаю что и было это со мной. Себя потерял. И не соображаю ничего. Одно только – причастие. Не исповедь даже – причастие. То ли от гордыни так одурел я? – Это он вопросом. А вопроса-то нет. – Толпа словно, а у меня росту нет, а волнуются все – Христос пройдет сейчас, а я-то, я-то, и подпрыгиваю – вот, стыдно ведь, а подпрыгиваю – Христа увидеть, а спины только – толпа. И вот словно обезумел я, – дерево-то – вот, дерево – ствол. И я по дереву – стыдно, а что делать? – лезу. Не как Закхей, конечно, как обезьяна, но лезу. А про себя-то думал ведь, как Закхей, так, мол, и я. Потеплели – на этих его словах – у батюшки глаза, иронией потеплели – повидал он таких-то, «закхеев». Это потепление взгляда пастырского предостерегающее заставило его зачистить:

– Уж неужто враг лукавый уже это меня так-то уж? – змеей изгибались слова, вопросом и ужились ужами этими в бесконечность. Не остановился бы сам ужакая. Батюшка перебил – так, словно под главу самую змея прижал мгновенно и крепко.

– Ты думаешь – Ангел это тебя?

– Ну, не Ангел же, не думаю, но...

– Вот и не думай. Кайся давай. Рассуждаешь все – кайся.

Строго сказал, но в этой строгости столько тепла было. Не того тепла, которое – поелику не холоден, не горяч, лишь – тепл. Нет, батюшка и холоден и горяч одновременно, что заслужил, тем и ожжет, до слезы даже, до краски щечной. Не сам же – как Господь велит. А Господь – милостив. Окутает теплом именно, жизни теплотою, теплотою возобразится – «и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет, как

след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его» – вот так как-то, примерно.

И дальше он говорил, рассказывал. Каялся? Делился тем, что прожил, до той еще исповеди. Но, отягченный теплотою, все-таки рассеивался до покаяния, не в словах, в сплетении этом самом солнечном, где дух захватывало.

Гордыня, – Вы тогда спросили меня, а я и не знал, сказать что. Потом уже после причастия понял – я тогда грехов своих вообще не видел. И словно и не жил. Вернее, как-то не сам жил, не сам дела все делал. Как жизнь назад смотреть – и два следа постоянно – рядом. Второй след чей, Господи? Второй – мой и есть, а Первый След – Его, Он и вел меня за руку по жизни всей. Так вот здесь – здесь самое страшное было со мной – а след здесь один, так это Он оставил меня тогда? Наоборот – я оставил Его. Но Он взял меня на Руки и пронес. Это Его След – мне здесь не пройти было.

Отсюда выровнялась исповедь. Покаянием стала. На грани слез. За горизонтом епитрахили.

Впереди была только Литургия.

Завтра.

Содержание

Дождь в декабре (заметы сердца в историю души)	3
--	---

I. Византийское время (стихи)

Селение жизни.....	19
Россия	21
Сыроежка	21
Афон.....	22
Дождь в декабре	23
Над Ключом-Кипуном	25
Гвоздь	26
Воскресный час в храме преподобного батюшки Серафима Саровского	27
Византийское время.....	28
Русская Иудея.....	29
Творение Любви (мимолетное).....	32
Ангел.....	32
Читая апостола Павла.....	33
Литературные поминки	35
Прощанье Вятчанки.....	36
Малиновка	38
В Оптинском Свете	43

II. Никольский погост (проза)

1. Селение жизни (опыт становления).....	46
Анин колокол.....	72
Ночь в Великорецком, Ночь.....	83
При корне дерев	104
2. раб Божий	115
Будь всем доволен.....	120
3. Не ангел же... ..	138

Правительство Кировской области
Департамент культуры Кировской области
Кировское областное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Литературно-художественное издание

Смоленцев Алексей Иванович

ВСЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ

СТИХИ И РАССКАЗЫ

Оформление обновлённой серии
«Народная библиотека XXI век» – Р. Шуклин
Дымковский пегас – Л. Садакова
В авторской редакции
Компьютерная вёрстка, корректор – Е. Бакулина
На 1 странице обложки:
Алексей Смоленцев. За Крестом по горестной Отчизне.
Путь из Великорецкого – фотограф С. Складов